

БУРЕЛОМ В СЕНАТЕ

(из воспоминаний юриста)

*Бурелом — лес, поломанный
и сваленный бурей.*

В. Даль

Правительствующий Сенат, как известно, был учрежден Петром Великим в 1711 году для «управления страной во время отлучек царя».

Во время более двухсот лет эта функция Сената отпала и он после судебных реформ императора Александра II стал высшим судебным органом в России.

Величественное здание Сената в Петербурге, построенное архитектором Штаубергом по плану К. Росси в 1834 году на Сенатской площади (ныне Декабристов), почти против импозантного памятника Петру Великому (скульпт. Фальконет), производит на зрителей громадное впечатление. Позже здание Сената советские власти приспособили для Центрального Государственного Архива.

Руководствуясь Судебными Уставами, Сенат завоевал в стране всеобщее уважение.

Ближе познакомился я с этим учреждением, когда по окончании юридического факультета С.-Петербургского университета в 1910 году поступил в канцелярию уголовного кассационного департамента, начальником которой был обер-прокурор фон Кемпе.

Вначале работа — рассылка по судам Империи Указов Сената мне казалось легкой, но затем при исполнении секретарских обязанностей во время судопро-

изводства, когда требовалось знакомство с делом, стало труднее.

Позже на несколько месяцев я был командирован в город Нуху на Кавказ замещать заболевшего судебного следователя.

Председателем нашего отделения был сенатор Гредингер, строгий и сухой правовед, которому я подготовлял нужный материал (справки и т. п.). Сам обер-прокурор редко выступал на заседаниях — его заменяли помощники.

Из сенаторов мне особенно запомнились Василий Лутковский — изящный русский барин, пересыпавший русскую речь французскими словами. Всегда благожелательный и внимательный он, как судья, свято хранил заветы Судебных Уставов и слова Манифеста императора Александра II — водворить в России «суд скорый, справедливый и равный для всех». Он очень любил литературу и искусство; о них он мог говорить без конца. С ним мы часто посещали выставки картин передвижников. Он хорошо знал художника Богданова-Бельского, еще когда последний начинал свою карьеру у известного педагога С. А. Рачинского, открывшего в нем талант художника. После крушения Империи — сенатор Лутковский, по словам сенатора Грузенберга, принял постриг в одном из северных монастырей. Из других сенаторов я помню еще С. М. Зарудного, тонкого знатока уголовного судопроизводства, затем сенаторов Позена и Кривцова, частого участника сенаторских ревизий.

Интересной личностью был сам первоприсутствующий В. А. Желиховский — один из первых исполнителей введенных в жизнь Судебных Уставов — высокий, худощавый старик с козьей бородкой, в очках, он часто жевал губами.

Несмотря на глубокую старость, наш первоприсутствующий обладал необыкновенной памятью. Часто во время заседаний он закрывал глаза и шевелил губами — такое состояние его не раз вводило новичков адвока-

тов в заблуждение: некоторые из них, пытаясь подкрепить свои доводы, ссылались на разъяснения уже отмеченных статей, но Желиховский быстро открывал глаза и, перестав жевать, указывал на ошибку. Смущенный адвокат лепетал что-то невнятное и исчезал. Одевался он неряшливо, часто можно было видеть его, идущего на заседание, причем правая штанина была на выпуск, а левая засунута в голенище, пальто старенькое. Про него в Сенате рассказывали, что он однажды пожелал погулять по Летнему Саду, но молодой жандарм, стоявший у ворот, остановил его словами:

— Куда прешь, вам сюда нельзя...

— Как так нельзя? — спросил сенатор.

— Так что запрещено впускать в сад нечисто одетых и вообще нетрезвых...

— Голубчик, помилуй, ведь я сенатор и как первоприсутствующий являюсь на доклад к самому Государю Императору во дворец...

Но тут жандарм остановился и вытянулся в струнку, заметив подъехавшую коляску, с которой величаво сходил градоначальник генерал Драчевский.

— Здравия желаю Ваше высокопревосходительство — приветствовал он, пожимая руку сенатора, — в чем дело, вижу волнуетесь?..

— Да вот, ваш жандарм не впускает меня в сад, говорит, что не велено впускать...

Инцидент был быстро улажен: генерал приказал жандарму извиниться перед сенатором, сам извинился и, пожелав приятной прогулки, уехал.

Что случилось с Желиховским в Октябрьскую революцию — не знаю, так как я в это время был на фронте далеко от столицы.

Хорошо помню сенатора и писателя Анатолия Федоровича Кони. Ниже среднего роста, с некрасивой головой, но с прекрасными, живыми глазами и приятной манерой речи он быстро очаровывал собеседника и мы,

молодые юристы, любили с ним беседовать, так как он был большой художник слова. Этот «трубадур Судебных Уставов», так называли его у нас в Сенате, всегда находил тему для беседы и охотно делился с нами своим богатым опытом из судейской и прокурорской практики.

Его научные труды и литературные произведения принесли многим молодым юристам несомненную пользу.

Про Кони рассказывали, что когда он вошел первый раз, как сенатор, в зал общего собрания присутствия первого и кассационных департаментов Сената, то вдруг раздался чей-то голос: «Настали времена императора Калигулы — Кони в Сенат вошли».

Этот каламбур сделался известным всему Сенату и долгое время служил сюжетом для любителей анекдотов.

Октябрьская революция смела с лица земли и этого идейного борца за правосудие: оплеванный большевиками в его вере в гуманное начало права и справедливости Кони скончался в Ленинграде в 1926 году.

Из адвокатов, выступавших в Сенате, особенно запомнились: Санкт-Петербургский златоуст Николай Платонович Карабчевский и Оскар Осипович Грузенберг.

Импозантная, с красивой головой, фигура Карабчевского производила громадное впечатление на слушателей, его я не раз слушал на сенсационных процессах: «Аполлон Бельведерский во фраке» — восхищалась одна из знакомых мне поклонниц таланта оратора. Умный психолог, мастер живого слова и с богатой эрудицией, Карабчевский всегда находил приятные слова для собеседника, правда, в Сенате, сжатый кассационным судопроизводством, этот природный оратор, конечно, не мог дать простор своему красноречию, которым он в окружных судах доводил одних до истерического

плача, а других заставлял застывать от восторга. Соперником его как судебного оратора мог быть только москвич Р. Н. Плевако. Карабчевский скончался в Риме в 1925 году, там, где 2 000 лет тому назад громил вдохновенной речью Калигулу Марк Тулий Цицерон; любимый писатель юного Коли Карабчевского.

Помню хорошо другого адвоката — Керенского, Александра Федоровича, более слабого, как судебного оратора, чем предыдущий. Хрупкого телосложения, нервное, довольно тонкое лицо, порывистый, подбежит он с портфелем под мышкой к моему столу, сунет руку, поздоровается и спросит нужную справку и, недослышав ответа, мчится далее — он вечно спешил. Никому, да, вероятно, и самому Керенскому не могла придти мысль, что он окажется у руля власти всей России — председателем Совета Министров и Верховным Главнокомандующим армиями, а в результате Октябрьской революции (1917), не сумев воспользоваться своим высоким положением, выбрасывается историей, скрывается и оказывается наконец в эмиграции, — не сумев спасти Россию от большевиков. Судьба играет человеком!

Хорошо помню Грузенберга, Оскара Осиповича; его позже назначил сенатором в наш департамент Керенский. Этот адвокат был человеком глубокого ума, в кассационных решениях Сената он «плавал, как рыба в воде». С ним я встретился позже в Риге, мы вместе вырабатывали устав общества «Жизнь и Суд», но в жизнь его так и не провели.

Регистратура — комната масонов

Шла неудачно первая мировая война. Я также был призван на военную службу. Изредка навещал я наполовину пустой от молодежи Сенат.

Однажды перед отъездом во Псков зашел я в новую регистратуру попрощаться с начальником ее, статским советником Шклярским, от которого я узнал большую

новость для меня, что в этой комнате масоны, которым принадлежал этот дом Полякова, принимали аспирантов. В 1913 году дом Полякова был куплен Сенатом, рядом стоящим, и круглая комната без окон превращена в сенатскую регистратуру.

— Вот в этой комнате по роману Льва Толстого «Война и мир» стоял черный стол с тусклой лампадой, на нем лежало раскрытое Евангелие, а рядом — гроб с костями... Теперь ты видишь на этом месте мой стол, на котором вместо Евангелия лежит громадная книга исходящих и входящих бумаг, рядом же вместо гроба — мой черный стул с моими «костями»... — прибавил он добродушно смеясь.

— А где же стоял Пьер Безухов? — спросил я.

— Вот, тут против стола, немного правее тебя... — ответил, не смущаясь, Шклярский.

«Лебединая песнь» Сената

Незабываемое впечатление произвело на меня большое торжество в роскошно убранном тропическими растениями и цветами зале Сената по случаю 50-летия Судебных Уставов 20 ноября 1864 года, на которое 20 ноября 1914 года прибыл император Николай II и его свита.

Какой-то красивой сказкой казались мне государь в полной парадной форме и блестящая свита его. Тут были представители законодательных палат, сенаторы, министры, генералитет, ученые, представители магистратуры и прокуратуры, — все в мундирах и фраках.

После торжественного заседания сенаторов уголовного и гражданского департаментов и краткого обмена приветственными речами царь со свитой покинул Сенат. Здесь я видел последний раз императора Николая II. Это торжественное юбилейное заседание было «лебединой песней» Сената.

НИЗВЕРЖЕНИЕ СТОЛПА РОССИЙСКОГО ПРАВОСУДИЯ

Творение Петра Великого Сенат просуществовал после юбилейного торжества еще не более трех лет: его закрыли в «буреломное» время большевики, овладевшие верховной властью. Декретом от 24 ноября 1917 года комиссар юстиции П. Стучка объявил, что «все законы прежних режимов считать сожженными и все суды закрытыми». И тут же он прибавил: «Мы и на самом деле все это исполнили, не останавливаясь перед закрытием и самого Правительствующего Сената».

Роль Сената в правовой жизни русского народа была велика. Там получили практические познания и опыт многие из числа выдающихся деятелей Судебных Уставов, как например Стояновский, Буковский и др. Через тот же Сенат прошло не мало первых исполнителей Судебных Уставов (Арцимович, Зубов и др.). Когда же в силу судебных реформ 1864 года в Сенате были учреждены кассационные департаменты — уголовный и гражданский, то новый суд сразу оказался на высоте своего положения и вызвал дружное сочувствие русской общественности, так как первые шаги его деятельности доказали, что суд вообще, а суд присяжных заседателей в особенности, — не мертвый, а живой организм.

В Сенате я пробыл всего 5 лет — в 1915 году я был призван на фронт, откуда в Петербург не вернулся, — но добрую память о пребывании в этом учреждении я сохранил навсегда и не теряю надежды на его восстановление.

КАВКАЗСКАЯ РАПСОДИЯ

*В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея, на черной скале...*

М. Лермонтов

Летом, после краткого экзамена по армянскому языку, я получил от Министерства Юстиции предписание отправиться в город Нуху замещать заболевшего там судебного следователя.

Я поехал с группой причисленных к Министерству молодых юристов на юг.

По железной дороге поезд доставил нас во Владикавказ, откуда поехали на перекладных по известной Военно-Грузинской дороге в Тифлис.

Этот путь длиной почти в 210 километров славится живописными видами. Действительно, все время мы любовались удивительно красивыми картинами горной природы. Дорога пересекает Кавказский хребет и кончается в Тифлисе.

Красоту всех видов увеличивали поэтические древние замки, церковки и сторожевые башни на вершинах гор. На некоторых скалах мы видели в живописных позах местных пастухов, наблюдавших с высоты холмов за своими овцами.

С правой стороны дороги вдали виднелась самая высокая гора — Казбек. Все было так прекрасно и величественно, что я, пораженный необыкновенным для меня зрелищем, невольно воскликнул:

«Ох Ты, пространством бесконечный!» — начало пришедших в голову стихов Державина «Бог».

Коллеги мои посмеялись моему экстазу, но согласились, что красота природы бесконечная.

Лошадей меняли на станциях, где я удивлялся разнообразию кавказских национальностей и их фольклору: грузины, армяне, татары, чеченцы, осетины и много других. У горцев вид гордый и независимый, особенно у грузин и чеченцев.

Но вот, мы, наконец, в Тифлисе, столице Грузии. Вспомнились шуточные стихи петербургских студентов-грузин:

«Тифлис город есть большой,
У меня там лавка...
Мы торгуем баклажан,
И различный травка...»

Город издали большой, расположенный на горных скатах, но в центре его мы ничего особенно выдающегося не заметили.

С двумя коллегами пошел я в бани каких-то грузинских князей. Там со мною произошел комичный случай. Банщик, молодой парень, провел меня в отдельный номер бани, где из стены бил струей серный источник. У стены была широкая скамья. Банщик, не говоривший по-русски, знаком показал мне лечь на нее, что я исполнил.

С большим пузырем, из которого струилась мыльная пена, он старательно обмыл меня. Затем он сказал мне что-то по-грузински. Я не понял, но в знак согласия кивнул головой, повернувшись спиной кверху.

Вдруг босой банщик с легкостью серны вскочил на меня и начал равномерно топтать спину, но я с негодованием сбросил его с себя, и вызвал управляющего, которому заявил, что я не позволю исполнять на моей спине какие-то танцы. Тут выяснилось недоразумение: оказывается банщик предлагал мне сделать «ногами

массаж» спины, на что я согласился. Мы взаимно извинились друг перед другом. Инцидент был улажен.

В общем, серная баня была для меня очень полезной, так как я целый день, несмотря на беготню по городу, чувствовал себя бодрым и веселым.

На улицах везде шумно и оживленно. Много живописных мест, особенно вдоль реки Куры.

В Тифлисе мы разъехались по разным местам назначения. Я направился в город Нуху, ближе к персидской границе. Я ехал один. Мой ямщик-грузин напевал унылую, монотонную песню, под которую я, несмотря на красивые места, сразу стал засыпать, тем более, что день был теплый.

Проснулся я в каком-то ауле и, конечно, как раз перед духаном. Торжественно и радостно ямщик сообщил мне: «Духан, пить и закусить надо!» Выпили и закусили. Конечно, отдохнули, и поехали дальше.

Жар спадал. Кнутовищем ямщик, обернувшись ко мне, показывал на шоссе, по которому там и сям ползли змеи, одни из них были раздавлены колесами, другие грелись на камнях.

«Уезда Нуха — много змея» — говорил он, покачивая головой.

Поздно вечером мы оказались в Нухе, маленьком уездном городишке Елизаветинской губернии.

К моему удивлению, несмотря на сумерки, на улицах было большое оживление. Мой возница пояснил мне, что «здесь от 12-ти часов едят, пьют и спят до семи часов вечера, потом опять работают, — днем очень жарко».

В доме судебного следователя, где я остановился, мой коллега кончал допрос свидетелей. Он очень обрадовался моему приезду, так как очень устал и просил скорее принять дела. Я согласился охотно. После обеда я принял дела. Следователь Петров пояснил мне некоторые местные особенности здешней работы, из которых главная — сравнительно большое количество

убийств в уезде, где население, главным образом, состоит из татар и армян, которые между собой враждуют:

— У большинства из них месть заложена в крови — обратите на это внимание, обычно летом, когда посеян за городом рис — последний любит влагу и жару — говорил он. — Часто воду приходится вливать в узенькие канавки (арьки), что требует большого труда, особенно когда засуха. Так, если сосед нижней пограничной канавки пророев в грядке дыру, вода потечет в его, нижнюю грядку, значит произойдет кража воды. Потерпевший владелец обязательно или изобьет или даже убьет вора... Это своего рода обычай здесь — закончил Петров свое наставление, прощаясь со мной.

На следующий день я приступил к своей работе. В моей канцелярии уже сидел переводчик, он же и писарь.

В приемной ждали вызванные по делу об ограблении несколько свидетелей. Начав знакомиться с делом, я припомнил наставления моего учителя известного судебного следователя по чрезвычайным делам Середу, с которым мы написали справочник для судебных следователей, он был знаток своего дела и большой остряк.

«Прежде, чем начать дело, — поучал он меня, — вы должны решить важный вопрос, нельзя ли избавиться от него, т. е. вопрос о подсудности». В данном деле оказалось, что избавиться от него нельзя, и я приступил к допросу.

Свидетели были два грузина, которые иногда хватались за висевшие на поясе кинжалы, видимо, чувствуя себя оскорбленными моими вопросами. Спрошенный мною о причине такого поведения свидетеля переводчик ответил: «Не беспокойтесь, грузины народ гордый и вспыльчивый, они часто боятся, как бы их не оскорбили, вот они и хватаются за кинжал, но дальше этого хватанья за оружие дело не пойдет, так как после вспышки гнева он поймет, что честь его не затронута».

Работа моя в Нухе постепенно пошла нормально, сложнее — за городом, где некоторые жители имели небольшие рисовые поля.

Уже на четвертый день моей службы я получил от полиции сообщение, что на рисовом участке за городом совершено убийство, труп до прибытия следователя прикрыт землей вблизи места совершения преступления, что повозка будет подана в три часа утра с казаком для сопровождения меня на место происшествия, о чем сообщено и городскому врачу.

Врач предложил мне встретиться в клубе и там ждать ночью отъезда в горы, так как вскрывать труп позже пяти часов утра нельзя вследствие жары. Ничего не поделаешь — придется поиграть и в карты! Изучив полицейское дознание, отправился я поздно вечером в клуб.

В городе тихо. На плоских крышах некоторых маленьких домов сидели и лежали татары, любуясь звездами и что-то напевая.

Вскоре я подошел к двухэтажному кирпичному зданию, из высокой ограды которого виднелись поднимающиеся к небу руки с картами: это члены клуба играли в карты на крыше дома.

Наш полный и всегда веселый врач играл в карты с местным седовласым аптекарем и еще с каким-то молодым офицером в казачьей форме.

«Ага, питерская юстиция пришла, знакомьтесь, присаживайтесь и чувствуйте себя, как дома, — это наш дом отдыха» — говорил весело доктор. Познакомились. Я сел рядом и заказал себе национальное блюдо — пилав. Затем с любопытством обвел взглядом все общество. Было довольно многолюдно. Одни ужинали, другие играли в карты, третьи — уже в соседней комнате — танцевали под звуки рояля. Среди публики, ни одного петербуржца — так сказал мне доктор. Вскоре и я включился в игру.

Так провели мы время до прихода казака с сообще-

нием, что лошади поданы. Клуб уже опустел. Вышли и мы с доктором. На улице светало. Было сыро. Сели в повозку и двинулись в путь.

Через несколько минут мы были за Нухой. Освежающий ветерок тянул с запада. Вскоре мы оказались на берегу журчащего ручья. Вдали показались горы. Свернули налево и через полчаса прибыли к рисовым полям, где остановились, немного отъехав к опушке лесочка; там находились двое полицейских и понятые татары.

Солнце уже всюду разливало свет. Сойдя с повозки, я обследовал место, где совершилось убийство, на нем были следы крови. Труп лежал на левом боку в стороне от грядок. Убитый был татарин лет пятидесяти. Врач быстро дал заключение: смерть произошла от тяжелого повреждения камнем в правый висок, которым был проломлен череп, вследствие чего произошла мгновенная смерть.

Тело я разрешил отправить в деревню (аул) убитого, родственники которого уже ждали его. Доктор и я также поехали в этот аул, там мне следовало допросить нескольких свидетелей.

Когда через двадцать минут наша траурная процессия приблизилась к аулу, то я увидел там потрясающую меня до глубины души картину: большая толпа женщин, стариков и детей в красочных восточных одеяниях поднимала руки и, падая на колени, кричала: «Смерть убийце!»

Я громко сказал, что я не судья, а следователь, убийца уже арестован, о чем только что мне сообщил прибывший сюда пристав, а судить его будут судьи, которые и накажут виновного. Но мои слова, переведенные приставом, на толпу не действовали, и люди продолжали кричать.

После допроса двух свидетелей мы покатили по ровному шоссе домой. Вдруг у лесистого холма сидя-

щий рядом со мной врач толкнул меня в бок, и, наклонив голову вниз, отрывисто сказал:

— Выстрел, голову наклонить!

Я быстро опустил голову, и спросил, что это значит?

— А это значит, что вас хотели подстрелить, разве не слышали выстрела?

— Слышал, но он казался мне очень далеким и я не придавал ему никакого значения.

Мой сосед позвал ехавшего позади казака и указал на лесок, откуда послышался выстрел. Казак галопом помчался туда и исчез в кустарнике.

Мы продолжали ехать, но с лихорадочным волнением смотрели в лесок, где на секунду на солнце сверкнула часть ствола ружья и раздался выстрел — стрельнул наш казак Данилюк, исчезнувший в кустах... Маленький дымок показался там и все стихло. Мне стало страшно... Вскоре нас догнал Данилюк. Он был возбужден и ругался.

— Ишь, сволочь, мстить вздумал... ясно — родственник убийцы... Ну, я помешал ему... удрал!

С этими словами, сделав нам под козырек, он отъехал вперед.

Я совсем пал духом: «Вот и работай на Кавказе, думал я удрученно, в награду получишь пулю в лоб!.. Нет, я не останусь здесь. В августе уеду в тихий Сенат!»

Бывалый в разных кавказских передрягах доктор, взглянув на мое побледневшее лицо, засмеялся:

— Это лишь один эпизодик из кавказской рапсодии, который удачно для нас сошел, не унывайте, смелым Бог владеет! — утешал он меня.

Приехали в городок благополучно. Жарко. На пыльных улицах — ни души. Вечером я засел за обычную работу.

В воскресенье меня пригласили «на маевку» в прохладный лесок, там был почти весь нуховский бомонд: русские, армяне, татары и грузины, преимущественно

молодежь обоего пола. Пели, танцевали, ели шашлык и запивали его кахетинским вином. Вообще было весело. Там я познакомился с миловидной армянкой Али Айкопян, курсисткой петербургских Бестужевских курсов. Наконец, у нас была общая тема для бесед — о веселой студенческой жизни в Северной Пальмире, куда она в скором времени должна ехать учиться.

Работать в Нухе стало веселее, но моя работа близилась к концу. Дни стали короче, ночи длиннее и темнее. В горах осмелели разбойники, особенно много говорили о бандите Салтан-Оглы, который в маске смело нападал на путешественников, конечно, одиноких. Из центра Тифлиса шли предписания во что бы то ни стало задержать его.

У нас вся полиция была поставлена «на ноги», всюду по дорогам среди гор рыскали вооруженные стражники, но долгое время поймать разбойника не удавалось. И только благодаря случаю полиция арестовала грабителя.

Случилось это так: один приказчик, в свое время ограбленный Салтаном в горах, шел мимо домика татарки на окраине Нухи и заметил наверху мусорной кучи свою дорожную холщевую сумку, которая была отнята у него грабителем в горах. Эту свою сумку приказчик представил полиции с соответствующим заявлением. В полиции сразу же приняли меры к поискам в этом домике бандита. Руководивший операцией облавы полицейский чиновник пригласил меня присутствовать при аресте Салтана. Я согласился пойти на облаву. Рано утром следующего дня я находился вблизи таинственного домика, который одиноко возвышался в некотором отдалении от других построек. Цепью вокруг отдельного домика было рассыпано человек десять полицейских и стражников. Было тихо, слышалось лишь отдаленное пение птичек. Один полицейский, скрывшись за толстым деревом, выстрелил из винтовки, и громко крикнул по-татарски:

— Прости, Салтан, что мы потревожили тебя! Сдавайся, ты окружен, бросай твоё ружьё!

На крыше домика появился сильно сложенный, лет сорока, рыжий детина. Лоб его был обвязан белым платком. Он бросал беспокойные взгляды по сторонам и, убедившись в невозможности спастись, хромя подошел к краю крыши и швырнул вниз ружьё. Тут его схватили и связали. Он не сопротивлялся — горный тигр был болен.

Искренне поздравил я руководителя облавы за бескровную победу над бандитом, так как все ожидали кровопролитной битвы. Тут же я посоветовал ему при дознании поинтересоваться, не имеются ли в Нухе какие-нибудь потомки Хаджи-Мурата, героя повести Льва Толстого. Ведь Хаджи Мурат жил и в Нухе!

Больше о судьбе Салтана Оглыя не знаю, известно только, что он был отправлен в губернскую тюрьму.

В Петербург я уехал один, так как курсистка Ала Айкопян, с которой я обещал раньше ехать вместе в столицу, вследствие болезни матери, осталась на неделю дома.

Позже я прочел в газетах, что в Закавказье разбойники напали в горах на повозку и похитили ехавшую в Россию дочь нухского купца Алу Айкопян.

Через месяц, уже в столице, я узнал от самой Алы Айкопян, что напавшие на нее двое бандитов в масках связали ямщика и оставили его в повозке, а ей завязали платком глаза и увезли куда-то в домик, стоявший вдали от какого-то аула. Там держали ее дней десять у одной старухи-татарки. Бандиты заставили ее написать отцу письмо с просьбой выдать ей пять тысяч, по получении которых она будет освобождена.

Ее отец, не доводя дела до полиции, стал торговаться об уменьшении суммы. Сошлись на трех тысячах. Девушку доставили на станцию той же дороги, по кото-

рой она ехала в Россию, но гораздо ближе к Нухе, и отпустили ее на волю.

Эту историю я услышал в Петербурге из уст самой Алы, которую я посетил по прибытии в столицу. Это жуткое событие для меня явилось как бы заключительным аккордом моей кавказской рапсодии.

МАТЬ - ГЕРОИНЯ

(Посвящается моей дорогой спутнице жизни
Марии Ивановне)

Это истинное происшествие, о котором рассказывается ниже, произошло в страшные времена гражданской войны в России, когда жизнь человеческая стоила дешевле буханки хлеба.

Скромное имя Марии Ивановны может смело войти в историю героинь-матерей, так как то, что она совершила ради своих трех деток, достойно удивления, и я надеюсь, что наши дети будут передавать эту историю следующему поколению, ибо она поучительна и может служить примером материнской самоотверженности.

Уже по прибытии нашем в Нарву из Пскова, где мы во время августовской эвакуации оставили «на короткое время» троих детей, из них старшему было не более пяти лет, на попечении стариков, мать стала очень грустить, а в декабре (1919 г.) она решила во что бы то ни стало отправиться во Псков. В это время приостановились военные действия между эстонцами и большевиками, и я воспользовался этим обстоятельством и обратился к генерал-квартирмейстеру штаба М., которому откровенно рассказал про наше горе и просил совета, как провести опасную операцию перехода советско-эстонской границы.

Генерал отнесся очень сердечно к нашему горю, и обещал устроить у эстонских военных властей пропуск для моей жены в пограничный городок Печеры, где она может получить нужные справки у одного местного учителя.

Сердечно поблагодарив генерала, я отправился домой готовиться к опасному «Ледяному походу».

Я купил крестьянский полушубок, теплый платок, валенки, так как были жуткие морозы. Достали продукты и папиросы, которые тогда стоили «дороже денег». Продукты и все вещи сложили мы в мешок, а деньги (золотые монеты) зашили в полушубок. Моя жена взяла с собой паспорт на имя крестьянки Аграфены Снетковой. Облачилась она в полушубок, взвалила на спину мешок с продуктами и, помолившись Богу, двинулась к выходу из нашей квартиры. Посмотрел я на нее и подумал: «Бог и природная сметка спасут ее».

Извозчик доставил нас на ранний санитарный поезд с направлением в Печеры. Грустное было расставание наше в вагоне, откуда я вышел совершенно подавленный разлукой. Только через три месяца я получил письмо от нее из Риги с описанием «Ледяного похода»...

В Печеры, где находился известный Псково-Печерский монастырь, наша Мария Ивановна приехала благополучно. Прежде всего, зашла в монастырь и усердно помолилась. Учитель, у которого она переночевала, посоветовал ей отправиться на крестьянский базар и там поискать человека, который взялся бы переправить ее на озеро, ближе к острову Семск.

В первый день поиски такого человека на базаре не увенчались успехом, так как все рыбаки, жившие в поселке Талабске, месте близком к острову Семску, опасались облавы пограничной стражи. На второй день — та же неудача...

Полная душевной тревоги и беспокойства за судьбу детей, зашла она по совету одной лавочницы к гадалке узнать, живы ли дети? Она поверила лавочнице, что «эта гадалка не простая, так как гадает на углях, и она-то скажет истинную правду» уверяла торговка.

В заваленной старыми вещами комнате, у круглого черного стола, на котором стояла на треножнике не-

большая жаровня с горящими углями, сидела в большом черном платке старая маленькая женщина.

Она кивнула головой вошедшей Марии Ивановне, и сказала приветливо:

— Садись к столу... ты насчет деток?

— Да, я хотела бы узнать, живы ли они?

Гадалка вдруг преобразилась, привстала, лицо ее побледнело, потом пригнулась к жаровне и стала над ней водить ладонью правой руки, причем все время издавала шипение с некоторым тихим свистом.

Наконец остановилась и сказала:

— Успокойся, все трое живы и здоровы... Иди к ним.

— Неправда! — воскликнула, скорее радостно, случайная клиентка.

— Не веришь — взгляни сама на жаровню, там три угля ярки, как солнце!

Бросив деньги на стол, Мария Ивановна выбежала на улицу, где быстро нашла по указанию лавочницы человека, который взялся свезти ее на дровнях в Талабск. Ехали по снежной равнине, всюду был снег. Там с озера потянуло ледяным ветром.

Вскоре приехали в Талабск, где Мария Ивановна встретила молодую девушку Таню; она также направлялась в родной свой Псков. Конечно, обе обрадовались и решили идти туда вместе и ждать, по указанию хозяина, возможности двинуться в поход.

Главное — надо было знать, где находятся эстонские пограничники? Хозяин очень боялся налета военных патрульных, которые могут его оштрафовать за то, что он не указал на появление чужих людей на границе, последних же следовало арестовать. Поэтому он просил несчастных женщин поскорее отправиться на остров Семск, где им покажут, как дальше идти к устью реки Великой.

— Идти по льду на остров не страшно, говорил он, — нужно только остерегаться полыньи! — Это рас-

таявшее и занесенное снегом место на ледяной поверхности. Полынью можно нащупать палкой, — советую взять с собой, — закончил он свое поучение. — Бойтесь полыньи! там смерть, — говорил он.

После этих слов Таня встала и, попрощавшись, ушла в Семск, но Мария Ивановна осталась, желая более подробно узнать об опасности пути по льду.

Оставшись одна, она перенеслась мыслями к одиноким своим детям и стала плакать. Сын хозяина, юноша Сережа, утешал ее, рассказывая, как он сам с товарищами ходил зимой в Семск: «Совсем не страшно!» Когда она успокоилась, Сережа провел ее к бане, что стояла на берегу озера, и показал ей на точку вдали:

— Это Семск. Туда прямой путь, через два часа будешь там, главное не бойся, — сказал он, прощаясь.

Когда она с берега вступила с некоторым страхом на лед, покрытый снегом, то услышала позади себя веселый голос сына хозяина, кричавшего ей:

— С Богом на ледяной поход!

Эти слова Сережи влили в душу ее бодрость и энергию. Крикнув:

— Спасибо-о! — она весело зашагала вперед, поправляя груз на спине.

Был холодный, но ясный день. Смотрела она вдаль, ударяя палкой по льду, и не спускала глаз с видневшейся вдали точки, которая впоследствии оказалась семским маяком.

По ровному месту было довольно легко идти, но вот начали встречаться на пути кучки снега, в которых вязли ноги. Случалось, что снег был ей до живота, и она с большим напряжением вылезала из снежной груды на ровное пространство. И только раз она заметила место, похожее, по описанию хозяина, на опасную полынью, но, не дойдя до него, к счастью заметила следы ног на тонком слое снега, которые сворачивали вправо от полыньи.

«Это следы, наверно, ушедшей раньше меня де-

вушки» — подумала она, и по этим следам она вышла на ровное место, откуда ясно увидела остров Семск. Вскоре она усталая и голодная вошла в домик рыбака, где встретила талабскую Таню, с которой после чаю пошла дальше к Пскову.

Шли обе женщины бодро, каждая была довольна встречей — не так скучно. Погода была приличная, а морозец только подбадривал их. Солнце лениво освещало даль впереди, где взоры их жадно искали одинокий дом пограничной охраны, что находился на берегу устья реки Великой.

Через час здесь стали попадаться сугробы. С далекого псковского берега вдруг раздались выстрелы из винтовок. Белокурая Таня сразу легла в кучу снега, что сделала и ее спутница — ясно было, что на берегу их заметили. Жутко стало идти по открытому льду! Когда выстрелы прекратились, наши спутницы быстро поднялись и, немного согнувшись, пошли дальше.

«Да», подумала наша Мария Ивановна, «снежные сугробы в данном случае приносят пользу!» Прошли полверсты и снова раздались, более частые, выстрелы, на этот раз — с эстонской стороны. Опять спутницы свалились в снежную кучу, причем Мария Ивановна легла навзничь, оказавшись на своем мешке. И в это время она, к своей радости, заметила желанное устье реки, на левом берегу которого виднелся дом пограничной охраны. Уже вечерело, на берегу кое-где появились огоньки. Радостно вскочили женщины и быстро пошли к берегу. Навстречу им шли двое солдат с винтовками.

Оказавшись на берегу, спутницы облегченно вздохнули:

— Слава Богу, кончился наш ледяной поход! — сказала Мария Ивановна.

Один солдат вежливо попросил их следовать за ними в избу, что находилась вблизи. Там конвойный сдал их старшему, который заявил, что уже поздно, и они

должны здесь переночевать, а завтра утром он отправит их псковскому коменданту.

За столом несколько солдат кончали чаепитие. Хозяйка предложила «выпить чайку» и задержанным путешественницам, которым она указала место спать на полу. Со страхом легли они, не раздеваясь, на соломенную постель.

Рано утром после чая их отправили по этапу с конвойным во Псков. Шли весело по хорошей дороге. Вот показалась колокольня Псковского собора. В пригороде у одного домика Таня попросила конвойного разрешить зайти к родителям, на что он добродушно согласился. Через десять минут Таня вернулась еще веселее. Оказывается — комендант друг ее детства. «Мы спасены!» ликовала она.

Пошли дальше в город. На Пушкинской улице у дома Столбшинских, где находилась наша квартира, сердце матери усиленнее забилося и она также попросила конвойного разрешить зайти «на минутку» к детям. Добрый солдат, сочувствующий людскому горю, охотно согласился подождать.

— Обрадуй своих деток! — махнул он рукой, закуривая папироску.

С радостным волнением побежала Мария Ивановна по лестнице к двери квартиры, которую открыла мать ее — бабушка Катя.

На первый вопрос вошедшей: «Живы ли дети!» ответили трехлетняя дочь Ванда и почти годовалый мальчик Геня, которых, обливаясь слезами, она обнимала. Старшего Славы не было дома — его, по словам стариков, взяла погостить в город Остров тетя Нюша (моя сестра). Этот ответ весьма обеспокоил Марию Ивановну. «Не случилось ли какое-нибудь несчастье с ним! Не скрывают ли родители?» С большим трудом успокоили старики дочь. Жили они довольно хорошо и знакомые наши посещали их.

Неожиданное появление дочери взволновало их: они боялись осложнений с полицией.

Оставив мешок с продуктами и вещами дома, счастливая мать ушла, пообещав через час вернуться и жить вместе.

Конвойный быстро доставил арестованных в комендатуру под расписку. Когда конвойный ушел, комендант, молодой офицер, с улыбкой посмотрел на Таню, которая, не выдержав его долгого взгляда, с некоторым надрывом в голосе спросила:

— Вася, неужели ты не узнаешь меня?

— Как же, Таня, хорошо узнаю! Вот где пришлось нам увидеться!

— Так что же ты держишь нас здесь?

— Подожди, Таня, необходимо формальности исполнить...

Просмотрев паспорт Тани, и записав какие-то справки в тетрадку, комендант сделал легкий выговор Тане за опасное путешествие в Эстонию и велел ей забыть «эстонскую авантюру» и идти домой, куда он вечером придет после работы. Затем он обратился ко второй с вопросом, как она попала в Нарву и зачем вернулась в Псков?

Чистосердечно рассказала она, не утаивая ничего.

— Зачем вы взяли чужой паспорт?

— Я боялась, что меня арестуют, как жену офицера Белой армии, и я не увижу своих детей!..

— Забудьте все, никому не говорите, что вы были в Нарве. Считайте, что вы это время жили в Пскове. Поняли? А чужой ваш паспорт я разрываю при вас, — сказал он, бросая разорванный документ в корзину.

— Идите домой к своим детям и опекайте их! — закончил он, поднявшись с места.

Сердечно поблагодарив коменданта за добрый совет, Мария Ивановна отправилась домой, довольная благополучным исходом опасного дела.

Через несколько дней она съездила в город Остров,

откуда привезла Славу, — теперь только успокоилась, когда все трое детей были при ней: они стали еще милее и дороже ей.

Два раза в нашу квартиру заходила комендантская Таня узнать, как наладилось у ее спутницы через озеро.

Устроилась Мария Ивановна дома очень хорошо, взяв в руки ведение не только домашнего хозяйства, но и работу в небольшом учреждении города.

Вскоре после заключения советско-латвийского мира прибыла в Псков латвийская комиссия по переселению беженцев в Латвию. Она как уроженка города Риги пожелала эвакуироваться в Латвию, но, оказалось, что для этого необходимо развестись с мужем, российским подданным. Мария Ивановна подала прошение о разводе псковскому народному судье, который удовлетворил ее просьбу, выдав ей соответствующее свидетельство.

На основании этого документа она с родителями и детьми, захватив необходимое имущество, приехала в беженском эшелоне в Ригу, где и встретила с мужем, вернувшимся из Нарвы, и снова их счастливая жизнь с детьми — уже в Латвии — потекли нормально.

ОХТЕНСКАЯ «БОГОРОДИЦА»

1

Первая мировая война приближалась к концу. Полным ходом шла «всероссийская, бескровная» — не помню, как еще именовалась поэтами революции эта кровавая скачка событий в России 1917-1918 годов.

Немецкие войска стремительно катились к Пскову, где стоял штаб северо-западного фронта.

В начале декабря 1917 года я получил от моего начальства предписание немедленно отправиться в Новгород и приискать квартиры для санитарного отдела и его чинов.

Не очень-то хотелось мне при двадцатиградусном морозе отправляться в путь, когда вагоны не отапливались и к тому же были полны бегущими с фронтов дезертирами.

Но служба — не дружба. Поехал я в Новгород с квартирьерами других отделов штаба.

Весь скучный путь среди беспредельных болотных равнин мы провели за картежной игрой, притом в теплом купе главного кондуктора, дяди моего сослуживца. К вечеру, незаметно и без особых происшествий, мы прибыли на место назначения.

Остановились мы в гостинице на берегу Волхова. Затем два дня бегали по городу, осматривая по полученным в городской управе спискам квартиры и комнаты. На третий день все было сделано. Оставалось найти квартиру лишь для себя. В центре помещений уже не было, и я пошел бродить по окраинам, где долгое время ничего подходящего для меня не находилось.

И только в день отъезда, рано утром, в сильный мороз забрел я на восточную, самую незаселенную окраину, и там, с трудом передвигая по глубокому снегу ноги, заметил вдали усадьбу, окруженную высоким, розового цвета забором. Я с удивлением остановился — так живописна была представившаяся моим глазам картина: с трех сторон розовой усадьбы находилась роща, все деревья были покрыты белоснежным пухом. Волшебный вид! Посредине парка высились два дома — один двухэтажный, а почти рядом — флигель. Стены домов были выкрашены также розовой краской, а крыши — зеленой. «Какая прелесть! Вот здесь бы квартиру найти! Попробуюсь, авось клюнет!» — с этими мыслями подошел я к калитке. Заперта. Узкая садовая дорожка вела к веранде. Я позвонил. Тотчас же раздался пронзительный лай нескольких собак, а затем послышались тяжелые шаги по скрипучему снегу и лязг ключей. Через минуту я увидел идущего к калитке дворника с черной бородой-лопатой. Поверх шубы у него был надет белый фартук, а на голове — барашковая шапка.

Шел он не спеша, с достоинством, на ходу выбирая из связки нужный ключ. Подойдя к калитке, он, не открывая ее, сначала цыкнул на заливавшихся лаем двух псов, а затем, обратясь ко мне, строго спросил:

— Что вам угодно, господин?

— Да вот, видите ли, ищу свободную квартиру, имею жену и двух деток... У вас здесь тихо, хорошо!.. Буду платить по вольному найму, не по военной надобности.

При последних словах лицо дворника стало приветливее:

— Так вы, господин офицер, говорите, что у вас есть детки, а позвольте полюбопытствовать, какого возраста они будут?

— Старшему — мальчику — годика два, а девочке, дай Бог — месяца два с хвостиком...

— Так-с, очень даже хорошо... пойду доложу матушке, а вы, господин, подождите здесь... Как она, матушка, изволит решить насчет флигелька... Оттуда выехали, а у вас опять же детки.

И с этими словами он удалился, оставляя большие следы на усыпанной свежим снегом дорожке.

Минут через десять он вернулся и сразу же открыл калитку со словами:

— Пожалуйста... Матушка просит вас пожаловать к себе...

Вошли в розовый дом с заднего крыльца. Поднявшись на ступеней пять, мы очутились в просторном коридоре. Дворник постучал в первую дверь направо.

В светлой просторной комнате было тепло натоплено. Почти против двери, посередине, на старинном дубовом кресле с высокой спинкой, важно сидела заметно нарумяненная женщина лет за сорок. На ней была серого цвета кофта и малиновая бархатная юбка а на голове — белый платок с золотистыми крестиками. Из-под него, совсем некстати, игриво выбивался черный клочок волос. Странными показались мне модные, серебряного цвета туфли, надетые на толстые ноги в тонких белых чулках. Властные черные глаза ее, казалось, впились в меня. За креслом стояла, скрестив руки на груди, высокая худощавая женщина, вся в черном, наподобие монахини.

— Вот, матушка, они хлопочут насчет квартиры... опять же детки... — раздался позади меня голос дворника.

Я поклонился, получив в ответ милостивый кивок хозяйки.

Молодой парень в русской поддевке, которого я сперва не заметил, быстро подставил мне стул. Красота этого парня невольно привлекла мое внимание. Большую копну его русых волос сдерживала широкая красная лента, как это встречается на лубках с изображением божественных сцен. Румяное лицо со строго пра-

вильными чертами отличалось чистотою, а большие глаза с собачьей преданностью смотрели на хозяйку и, казалось, никого больше в комнате не замечали.

Юноша этот стоял у входной двери слева, а дворник — с правой стороны. Оба, к моему удивлению, стояли весьма почтительно, скрестив руки на груди.

«Странно все это, пронеслось у меня в голове, что бы это все значило?» Вопрос хозяйки вывел меня из раздумья:

— Так вы, господин офицер, хотели бы снять у меня квартиру? Что ж, у меня найдется небольшая квартирка. Но мы люди тихие, спокойные, хотели бы и жильцов иметь не шумных, без претензий и злопыхательства... А какова ваша семья, разрешите спросить?

— Как вам сказать?.. Семья моя небольшая, с одной стороны, по временам даже тихая, но, с другой стороны, пожалуй, и шумливая, особенно днем, так как сыну моему только два года, а девочке нет еще и трех месяцев, вот они-то и пошумят, но, конечно, без злопыхательства... в этом отношении будьте покойны...

Она тихо рассмеялась, показав здоровые белые зубы.

— Ну, а как насчет ихней супруги-с? Они как? — без «фигли-мигли» и тому подобное? — вмешался вдруг дворник.

— А ты, Петр, подожди, не вмешивайся, — строго бросила хозяйка в сторону дворника и, обратившись ко мне, продолжала:

— Вы уж простите, господин, он у меня человек простой, тонким поведением не учился... Он, видите ли, имеет в виду разные там приемы, чаепития с танцами, которые любят устраивать дамы общества...

— Что вы, что вы... В такое-то тяжелое время приемы и танцы!.. Да к тому же мы здесь люди чужие... никого не знаем.

Этот ответ, видимо, удовлетворил хозяйку:

— Ну, вот, и хорошо!.. А детишек и я люблю, мы их не обидим... Так что по рукам!.. Квартирочку я сдам вам во флигелечке, а что касается цены, то плата казенная: мы ведь тоже готовы жертвы нести на алтарь отечества... Вы, видно, из полка? — вдруг спросила она уже другим, неофициальным тоном.

— Нет,.. я штабной... Наш штаб переводится сюда...

— Ну, что ж, с Богом!.. А когда вы привезете семью-то к нам?

Я тут же решил не медлить с переездом и ответил, что надеюсь дня через два-три доставить сюда семью из Питера...

— Ну, вот и отлично! А ты, Петр, уж, пожалуйста, постарайся, чтобы флигель-то был в порядке: чисто и тепло, вишь, как на улице-то холодно!.. — и она встала, показав этим, что аудиенция окончена.

Проходя мимо меня, хозяйка важно протянула мне руку, на одном из пальцев которой я заметил большой бриллиант. Задержавшись на минуту, достаточную для моего рукопожатия, она удалилась затем в сопровождении «монашенки» в соседнюю комнату.

Квартира во флигеле оказалась весьма хорошей: комнаты светлые, просторные и сухие, была даже ванная, чего уж я никак не ожидал. У калитки, прощаясь со мной, дворник сказал:

— Ну вот и слава Богу, все обошлось благополучно! Матушке-то, видно, вы понравились, а это самое главное... остальное будет хорошо!..

Протянутую ему пятирублевую бумажку он не взял со словами:

— Что вы, барин, за что же? Такого у нас не водится, — благодарим покорно...

На этом мы расстались.

Санкт-Петербург после недавнего Октябрьского переворота все еще бушевал. На улицах было грязно, панели сплошь усеяны шелухой подсолнухов. Трамваи ходили неаккуратно, вагоны были переполнены до отказа. Электричество большей частью не действовало. По вечерам на улицах — жутко, особенно на окраинах: насилия и грабежи стали обычным явлением. Повсюду в общественных залах шли митинги. Вместо полицейских на постах стояли какие-то люди с красными нарукавниками, они равнодушно относились к душевраздирающим крикам избиваемых арестованных и даже к выстрелам. Короче говоря, был хаос, во время которого большевики расстреливали старый режим.

Проходя мимо ресторана Палкина на Невском проспекте, я впервые услышал в те дни «знаменитую» частушку; в каком-то пьяном экстазе ее хрипло распевал матрос:

Ешь ананасы,
Рябчиков жуй,
День твой приходит
Последний, буржуй!

Эта частушка в исполнении пьяного представителя нового режима почему-то влила в меня новую струю энергии, и я, после долгих поисков свободного извозчика, вдруг бросился к освободившемуся от арестованного седока «Ваньке», вскочил в сани и крикнул:

— Пошел на Малую Зеленину!

К моему удивлению, извозчик то ли почувствовал в моем тоне власть имущего дезертира, то ли отчаяние человека, решившегося на убийство, но, во всяком случае, он беспрекословно, даже с какой-то покорностью повез меня на Петербургскую сторону.

Нелегко было при таких обстоятельствах выехать из столицы с женой и двумя малолетними.

Все же в течение трех дней мы упаковали самые необходимые вещи и все, что могли, погрузили на тележку нанятого мною носильщика за астрономическую сумму керенок с придачей продуктов и папирос и отправились к Николаевскому вокзалу. Жена несла на руках грудную девочку, а я, придерживая посаженного на тележку сына, в то же время подталкивал ее.

Но самое трудное было впереди: попасть при громадном наплыве пассажиров на платформу. У вокзала — невероятная давка. При тусклом освещении фонарей было видно, как люди с громадными чемоданами, тюками и корзинами с отчаянием бросались на приступ к входу, где, казалось, искали спасения от овладевших столицей большевиков.

Каким-то чудом мы оказались в вагоне, где, благодаря детям, получили места.

Через час поезд, густо набитый пассажирами, тихо двинулся. В последний раз взглянул я в окно: там, за ним, расстилалась жуткая черная даль, и мне стало страшно. Дети спали, жена дремала. Рядом со мною тихо разговаривали двое — старик, видимо, чиновник в отставке, и молодой человек в потертой студенческой тужурке. Я стал прислушиваться. Спокойный тон говоривших вскоре перешел на повышенно нервный.

— Да, с вашим Санкт-Петербургом кончено! Не встать ему никогда на ноги! — уверял студент, затягиваясь папиросой.

— Напрасно изволите так говорить, молодой человек, наш чудный град Петра ныне только тяжело заболел, но он выздоровеет, он, поверьте мне, не может погибнуть, не может! — упорно повторял старик.

— Скажите, пожалуйста, почему не может погибнуть? Какие у вас доказательства?

— Таково мое убеждение-с, такова моя вера в бессмертие города, вера старого петербуржца, подтверждаемая притом легендой...

— Какой легендой?

— Вы не слышали легенду о майоре Бутурлине? — ответил вопросом старик.

— Нет, не слышал... Но при чем тут легенда?

— Очень даже «причем»: она, так сказать, подкрепляет нашу веру в долголетие столицы... Вот она, легенда: в 1812 году, перед самым нашествием Наполеона, явился к князю Голицыну, другу императора Александра Первого, какой-то майор Бутурлин и заявил, что он, Бутурлин, подряд несколько ночей видит один и тот же сон... И находится он, будто, на Сенатской площади, перед памятником Петра Первого. И вдруг видит он, как памятник, то есть, сам Петр, плавно съезжает вниз и шагает прямо ко дворцу, что на Каменном острове. Подхваченный какой-то неведомой силой несется за ним и майор. И слышит Бутурлин, как император Петр строго говорит встретившему его императору Александру: «И до чего ты, молодой человек, довел Россию! Нехорошо это! Впрочем, помни: чтобы ни случилось, пока стою на своем месте, моему городу нечего опасаться!» Сказав эти слова, памятник вернулся на свой пьедестал и принял прежнюю позу... Когда князь Голицын передал рассказ майора Бутурлина императору Александру, то последний, опасаясь перед этим нашествия Наполеона на столицу, и отдавший приказ вывезти из нее все государственные сокровища и исторические статуи, запретил трогать памятник Петра, хранителя его града... Вот и я во время октябрьских боев не раз пробирался закоулками на Сенатскую площадь посмотреть, на месте ли Петр? Видишь — на месте, ну и спокойно идешь домой: город, значит, не гибнет и не погибнет!.. Не погибнет! — повторил рассказчик, истово перекрестясь.

Я пытался вспомнить, где я читал эту легенду про сон майора Бутурлина, но так и не смог: сон одолевал меня и я задремал.

Проснулся я уже на станции Волхово, где при помощи сердобольных пассажиров мы перебрались на

пароход. Там было тепло и даже уютно. Сонные заняли мы места, и я снова задремал. Как сквозь сон слушал я новости — одни передавали друг другу слухи об отречении царя, другие про неудачную попытку генерала Крымова освободить столицу от большевиков, кто-то прибавил, что Крымов застрелился...

Но вот пароход тронулся, ломая тонкие пласты льда, упорно желавшего задержать его.

Усталость, равномерный стук машин, хруст ломающегося льда подействовали на нас усыпляюще, и мы вскоре снова все крепко заснули.

Проснулись мы ранним утром, уже в Новгороде. С неба густыми хлопьями падал снег. На извозчике поехали мы на новую квартиру.

Уже издали, среди снежной равнины красиво выделялся розовый забор. Свежий воздух и умиротворяющий покой действовали на нас целительно.

— Боже, какая здесь тишина! как хорошо! — сказала моя жена.

Приветливо встретил нас Петр и молодой человек: они помогли снести детей и вещи в хорошо натопленный флигель.

3

Как чудесно показалось нам в чистой и теплой квартире! Но главное — тишина. И только что мы разделись, вымылись, поставили самовар и сели за стол, как раздался стук в двери. Кричу: «Войдите!» Входит тот самый красавец-юноша с красной лентой вокруг волос. Перед собой несет большой поднос, на котором уютно расположились: пирог, подернутый дымкой пара, рядом большая кринка молока и белая миска, наполненная редким для того времени яством — творогом!

Поставив все это богатство на стол, юноша отвесил нам низкий поклон:

— От матушки! Кушать приказали! С новоселием!

— Спасибо, с величайшим удовольствием исполним ее приказание... Дай Бог здоровья хозяйшке за эти чудные дары!.. А когда, кстати, можно ее видеть? — спросил я парня.

— Да, вот — сегодня изволите отдыхать, а завтра часиков в десять утра матушка будут очень рады видеть вас, а только они просили и детишек с собой прихватить: они сильно любят-с ребяток! — говорил он, кланяясь и постепенно отступая к двери, пока не исчез совсем. Мы остались в приятном изумлении.

— Кто же это такая «матушка»-благодетельница? — спросила меня жена. — Ты же говорил с нею?

Я хоть и видел и говорил с матушкой, но ответить на этот вопрос жены не смог, а спросить в свое время Петра или этого красавца-парня как-то постеснялся. Поэтому я только сказал:

— Все, милая, здесь какие-то странные и загадочные, поживем-увидим... а теперь попируем...

После завтрака я отправился к себе в канцелярию. Когда же вернулся домой, то узнал от жены следующее: во время моего отсутствия она сходила в ближайшую лавочку за продуктами. Лавочница любопытствовала, откуда и где живет моя жена. Узнав, что мы из розовой усадьбы, она воскликнула:

— Ах, так вы живете у «Охтенской богородицы»!

— Как так у богородицы? — удивилась жена.

— Вы не знаете? — в свою очередь удивилась лавочница. — Вы же из Петербурга и должны бы знать «богородицу» — Марию Строганову, жившую на Охте, главу какой-то секты, члены которой и теперь еще посещают свою матушку. Дворник с окладистой бородой — «апостол Петр», а молодой красавец — Иоанн Богослов. Живет у них еще какая-то эстонка-кликуша, не знаю, кого она изображает... не святую ли Анну, ведь имя-то ее Анна. Живут они здесь года четыре, если не больше. Когда их выслали из столицы, то к

нам сначала приехал «апостол Петр», он-то и облюбовал эту усадьбу, купил, построил эти розовые домики, и вот они зажили здесь припеваючи: имеют двух коров, несколько свиней, гусей, кур, одним словом, все есть... Имеются, конечно, и денежки: доброхотные подаяния текут не только от наших, новгородских сектантов, но и от столичных... Матушка — человек не дурной, ничего худого про нее не скажешь! — закончила словоохотливая лавочница.

Так вот кто эта загадочная матушка! Теперь только я вспомнил про двух «богородиц», живших в Петербурге в расцвет богоискательства и мистических брожений: одну звали Марией Киселевой, и жила она на Крестовском острове, а другая — эта самая Мария Строганова имела свою «епархию» на Охте. Какой-то градоначальник, не то Драчевский, не то князь Оболенский одну «богородицу» еще кое-как терпел, но когда перед войной появились футуристы, юродивые и вторая «богородица»-Киселева с чудесами, то он не выдержал и в гневе крикнул своему помощнику:

— Довольно «чудес»! — И приказал их выслать «не в столь отдаленные места».

Киселеву выслали куда-то в Вологодскую губернию, а Строганову сюда, в Новгород.

На другой день в десять часов явились мы всей семьей к хозяйке. Приняла она нас торжественно: «апостол» Петр и Иоанн «Богослов» вышли из комнаты. Строганова сошла со своего «трона», внимательно посмотрела на детей, а Славу даже слегка погладила по щечке со словами:

— Детки хорошие, надо чтобы им у нас было приятно!

Затем показала нам свои покои. Везде царил чистота. Но особенно наше внимание привлекла большая зала во втором этаже, по-видимому, молельня. Посреди нее стоял большой прозрачный, в человеческий рост, портрет отца Иоанна Кронштадтского. Внизу, у подно-

жия портрета, в длинном ящике росли цветы, а по бокам портрета высилась тонкая рама, с прикрепленными к ней разноцветными лампадками.

Заметив в моих глазах удивление, матушка сказала:

— Это наш великий святой! — При этих словах она перекрестилась и тихо прибавила: — Он наш горячий молещик за русский народ-страдалец.

Подойдя к окну, она бросила взгляд на белоснежную равнину и как-то растянута, почти нараспев произнесла:

— А снега-то ка-а-к-ие! Вот теперь-то вашему мальчику хорошо покататься в саду... Я скажу Петру, чтобы он горку сделал...

Ушли мы, довольные приемом, но в то же время еще более удивленные.

«Странно, — подумал я, — сектантка, а Иоанна Кронштадтского почитает!»

На другой день, как «по щучьему веленью», против наших окон в саду выросла снежная горка. А затем появился Петр с новыми санками, покрытыми красным ковриком: «От матушки — деткам!»

Одев потеплее сына, я покатаю его по гладкой дорожке сада.

Вечером пришел к нам красавец-Ваня и, положив на стол два розовых байковых одеяла, доложил:

— Матушка изволили созерцать (так и выразился «созерцать»!), что мальчик ваш в саду мерзнет: его следует теплее заворачивать в одеяло... Они прислали два одеяла детям. Не побрезгуйте, примите!

Ну как не принять?! Приняли и послали матушке тысячу благодарностей.

4

Жили мы по тем временам великолепно: дров хозяйка не жалела. Продукты мы получали свежие, а главное — для детей всегда было молоко!

Внешне жизнь в нашей розовой усадьбе тоже протекала тихо, размеренно. Мы замечали только, что по субботам к вечеру в большой дом прибывали какие-то люди с чемоданчиками и портфелями в руках. Они входили в дом с черного входа, и встречал их всегда Ваня с красной лентой, сдерживающей черные, как смоль, волосы.

Окна дома в эти часы закрывались ставнями. Часто по ночам слышалось оттуда глухое пение, изредка прерываемое какими-то отдельными возгласами.

По словам нашей лавочницы, там происходило радение сектантов. На следующий день гости-мужчины в картузах и меховых шапках, а женщины в разноцветных платочках поспешно уходили.

Было ли в этом таинственном доме действительно радение — не знаю, сам не видел, но что в то время по всей России происходило своеобразное «радение», в этом я был уверен, так как и самому приходилось быть невольным его участником.

По всей стране бастовали, ниспровергали, митинговали и без суда карали. Наш новгородский Совет рабочих и солдатских депутатов постепенно делался большевистским.

Вскоре с нашей «богородицей» произошла неприятная история, косвенным виновником которой оказался я.

Недели через три после нашего водворения в розовый флигель вернулся из отпуска один штаб-офицер для поручений, полковник Гопак, инвалид русско-японской войны. При распределении чинам квартир, мы, квартирьеры, про него почему-то забыли.

Так как в Новгороде квартир больше нельзя было найти, то я предложил полковнику одну из моих комнат, предполагая, что одинокому достаточно и одной.

Я, конечно, попросил у хозяйки разрешения. Она после колебаний согласилась на его вселение.

До сих пор не могу себе простить моего усердия,

принесшего впоследствии хозяйке большие бедствия. Некоторым оправданием для меня может быть только жалость к беспомощному инвалиду, которого я к тому же считал старым холостяком.

Когда Гопак переехал к нам, жена и я всячески старались скрасить его одинокую жизнь. Но вот, в сочельник к нашему удивлению приехала к нему уже немолодая, властная, изрядно нарумяненная женщина, оказавшаяся его женой. Она явилась к мужу без предупреждения.

Легко догадаться, что нам стало в квартире тесно. На третий день Рождества прибыл к нам какой-то молодой, не по летам развязный юноша. Слегка вздернутый нос молодого человека и постоянно бегающие по сторонам глаза особой симпатии к нему не вызывали.

— Позвольте представить вам... мой пасынок Степа... Из Петербурга на пару дней, — прибавил полковник, как бы извиняясь.

Я промышчал что-то нечленораздельное...

В тот же день в штабе полковник очень извинялся передо мною по поводу вторжения к нам пасынка.

— Появление здесь Степы для меня самого ничего хорошего не предвещает, — сокрушенно жаловался он. — Это значит — он сидит без денег. Проигрался, пропил... истратил на «дам нашего круга», как он выражается...

— Он что, студент?

— Какое там студент! Из всех гимназий выгоняли, не поверите — даже из реального училища Гуревича и то попросили убрать! А все мать его избаловала: души не чает в этом сокровище! А сколько он бед нам причинил! Э!.. Так вы уж, пожалуйста, не сердитесь, голубчик... скоро уедет; он ведь, наверно, за деньгами приехал, дам и уедет! — закончил умоляюще старик.

Действительно, через день Степка уехал: видимо, получил деньги.

Приезжал он еще два раза, но дома большей частью

не сидел; днем болтался по митингам, а по ночам исчезал неизвестно куда.

— А где же ночует ваш пасынок? — спросил я как-то у полковника.

— А где же ему ночевать, как не у «дам его круга»! — сердито ответил Гопак.

— Одного не понимаю, откуда получает наш негодяй деньги? — задумчиво вслух спросил он сам себя, подписывая какой-то ордер.

Вскоре скандальное происшествие, поднявшее на ноги всю усадьбу, вполне разъяснило, откуда и как достает деньги Степка. Оказалось, Степка часто интересовался у лавочницы, кто такая «богородица», есть ли у нее средства и откуда она получает их? А раз, будучи на веселе, он даже вслух искренне удивился, почему в это, мол, замечательное время никто не конфискует капиталы старухи?

В его сумасбродной голове созрел план ограбления «богородицы». Он ждал лишь моего отъезда из Новгорода.

Случай этот скоро представился: я срочно выехал в Петербург по поручению нашего местного комитета Союза защиты, разогнанного матросом Железняком Учредительного Собрания, чтобы получить в главном комитете инструкции, узнать политические новости и, между прочим, посетить нашу брошенную квартиру.

В столице свирепствовал террор, но беспорядок не уменьшался.

Ленин, Зиновьев и Троцкий «углубляли» революцию. На улицах царили хаос и грязь. Как-то на углу Литейного и Невского я увидел своеобразную картину: в метавшуюся толпу стрелял из револьвера пьяный дезертир; когда же вызванный кем-то взвод солдат с красными повязками на рукавах обезоружил буяна и повел его куда-то по Литейному, дезертир, пытаясь вырваться, кричал: «Прочь! Я член ревкома! Я неприкосновенная личность! Не смейте, подлецы, касаться

моей личности!» Тут я вспомнил Дантона, когда он, подталкиваемый палачами на эшафот, кричал народу: «Прочь — в революции часто побеждают негодяи!»

Главный комитет Союза защиты Учредительного Собрания исчез: часть его большевики арестовали, а остальные вовремя скрылись, так что я никаких инструкций получить не смог. В нашей же квартире все было покрыто пылью, но оставалось в полном порядке.

Грустный, в предчувствии чего-то недоброго возвращался я к себе. У розового забора, позевывая, подметал тротуар Петр. При моем появлении он вздрогнул, снял шапку и с ноткой беспокойства в голосе тихо, оглядываясь по сторонам, сказал:

— А у вас, барин, не все благополучно, вам бы следовало подалее отсюда... опять же этот хулиган, Степка полковницкий, накуралесил... а впрочем, вы меня не видели, и я вам ничего не говорил, мое дело — сторона! — вдруг закончил он, сердито отшвырнув метлой сухие ветки.

Дверь мне открыла жена. Бледная и заплаканная, она вместо приветствия прошептала. — Поцелуй детей и исчезай скорей из Новгорода, хотя бы в Лугу... там брат... Тебя искали... Был обыск... В городе много арестов... Офицеров отправляют на расправу в Петербург...

— А при чем тут Степка? — механически спросил я, тяжело опускаясь на стул.

— Да ни при чем! Он просто пытался ограбить Строганову... Ну, потом подробно опишу... Торопись, а то как бы не налетели эти!

Делать нечего — надо бежать! Поцеловав наскоро детей, я благословил их, простился с женой и вышел черным ходом через парк на улицу.

Благополучно сел в поезд и через пять часов прибыл в Лугу.

Спустя три недели прибыла туда жена с детьми и рассказала следующее:

Во вторую ночь моего отсутствия в прихожей нашей квартиры раздался сильный звонок. Дверь открыла жена полковника, ожидавшая сына. Она с ужасом увидела своего Степку в растерзанном виде: его держал за вывернутые за спину руки Петр, у которого, в свою очередь, был большой синяк под правым глазом. По лицу Степки струилась кровь. Куртка его была разодрана. Позади них стоял порядком потрепанный Ваня. Из его носа также текла кровь.

— Где господин полковник?.. Мы привели этого мерзавца и желаем самолично ему сдать его, — сказал волнуясь, дворник.

Увидев Гопака, Петр освободил руки Степки и, усадив его на стул, взволнованным голосом заявил:

— Вот, господин полковник, сдаю вам патентованного грабителя на руки: нехорошим делом занялся он... С другими такими же, как он, хулиганами, пробрался он через нижнее окно в спальню матушки и пытался вытащить из-под подушки ее ключи от комода... Другой же товарищ караулил у дверей спальни, а третий был у калитки... Но мы-то проснулись... Ну, малость потрепали вашего, да и другого молодца, но в руки не дался тот — бежал! А накостыляли мы вашего за то, что он заехал ногой в морду Ване...

Положив на столик перед кроватью полковника несколько золотых монет, Петр добавил:

— Матушка приказали срочно, без скандала, выехать этому грабителю из Новгорода. Конечно, деньги на дорогу здесь прилагаем... ну, и на жизнь, на первое время здесь хватит!.. Не побрезгуйте выдать ему эти деньги...

При последних словах Петра полковника передернуло. Он приподнялся и гневно крикнул:

— Хам, как ты смеешь меня оскорблять! Взятку даешь!..

Но в этот момент Степка, жадно смотревший на столик, где блестели рассыпанные золотые монеты,

быстро вскочил, хромя подбежал к столику и, накрыв ладонью золото, закричал:

— Эти деньги мои.. Не разоряйтесь благородным негодованием, папаша, я их заработал и принимаю... А насчет отъезда, будьте покойнички, я сейчас же еду на юг... А вы чего стоите, святые угодники, вон!!! — взвизгнул он вдруг, густо плюнув в бороду дворника.

Мадам Гопак с тихим плачем обмывала лицо сына. Полковник облачился в свой китайский халат и при помощи костыля приблизился к пасынку.

— Ну и мерзавец же ты!... Позоришь только нас! — начал было Гопак, но, взглянув на опухшее от кровоподтеков лицо пасынка, переменил тон и с заметным удовольствием закончил:

— И как чисто обработали тебя угодники! Живого места не оставили!

Затем он поинтересовался:

— И как ты негодяй, решился на такое дело? А Строганова-то жива?

— Перепугалась, ведьма, особенно когда мы дрались: она забилась в угол под образа и все визжала... Только раз, стуча зубами, сказала Петру: «Петя, милый, ты полегче, как бы до смертоубийства не дошел»...

— Ну, когда буду комиссаром, я этим «святым» найду место в почетном углу: будут они там висеть у меня, вместо икон! А прежде всего выбью зубы Ваньке... Сегодня ошибся, второй раз не промахнусь! — злобно погрозил Степка.

*

И представьте себе: Степка сделался комиссаром!

Об этом узнал я только пять месяцев спустя. В Нарве я встретился с моим сослуживцем, капитаном Раношевским, дальним родственником полковника Гопака. Он рассказал мне, что полковник вскоре после этого происшествия ушел в отставку и уехал в Петербург. От Степки пришло лишь одно письмо из Белого.

— Оно настолько характерно по форме и по содержанию для нашего подлого времени, что я, с разрешения полковника, переписал его дословно... Хотите прочту? — спросил меня Раношевский и, не дожидаясь ответа, вынул из бумажника записочку и прочел:

«Дорогой и тому подобное папаша! К вашему сожалению, я не только жив, но и благоденствую. Живу и работаю полным ходом по уничтожению врагов пролетарской власти. Как и говорил я вам, я достиг высокого положения: я комиссар! Одно жалею, что я еще не прикончил новгородских святых, во главе с «богородицей». Ну, да еще встретятся они мне, тогда не сдобровать им! Свое место у стенки они найдут!

А вы, папаша, свои буржуазные замашки бросьте: при нашей пролетарской власти вас не погладят по головке — такими, как вы, стенки подпирают. Впрочем, передайте маменьке, что, когда буду в Петрограде, заеду к ней, пудры привезу, небось старуха все еще пудрится!

Степан-комиссар»

Что же случилось с «Охтенской богородицей»? — спросит читатель.

Ничего больше о ее судьбе не слышал, но полагаю, что Степка свою угрозу осуществил, если только сектанты не исчезли заблаговременно за пределы досягаемости «пролетарской власти» и ее защитников — «комиссаров».

БАТЬКО БУЛАК-БАЛАХОВИЧ

Раньше жестокие явления средних веков скрашивала романтика с ее рыцарством, защищавшим христианскую веру, вдов, сирых и убогих, а ныне и этого, как общее правило, нет.

Впрочем, бывают и исключения, хотя эта романтика некоторыми понимается как-то весьма своеобразно. Об одном таком современном «рыцаре» я и хочу рассказать.

Эта личность, занимавшая ответственное положение, увлекалась романтикой еще с гимназических времен и считала своим призванием следовать по стопам любимых ею героев средних веков, особенно она увлекалась образом Тараса Бульбы. Личность эта была — командир кавалерийского полка Булак-Балахович.

Наступившая сразу же после первой мировой войны гражданская смута предоставляла удобный случай для него осуществить хотя бы отчасти свои мечты.

Откуда появился у нас кавалерийский полк Булак-Балаховича — не знаю, наш город во время гражданской войны был своего рода проходным двором для всевозможных военных частей, распропагандированных большевиками.

В нашем городке эти части надолго не останавливались: как только в городе было пожрано все, что можно было пожрать, пришельцы исчезали дальше, в Петербург. Но полк Булак-Балаховича остановился, как будто, на более продолжительное время и выявлял тенденции быть хозяином как бы завоеванного им города, что, конечно, весьма не нравилось председателю местного Лужского совета товарищу Сомову, представителю партии большевиков.

Особенно этому председателю была неприятна лихая посадка кавалеристов, которые с казацкими шапками набекрень гордо проезжали на лошадях по улицам города, вызывая восторженные взгляды и вздохи местных горожанок, возвращавшихся с работы.

Дело в том, что Сомов, бывший местный портной «из Парижа», до прихода этого полка реквизировал в одном имении уезда великолепную белую лошадь и решил использовать ее для верховых поездок на митинги. После десятого падения с лошади он вообразил себя настоящим кавалеристом и часто появлялся на парадах верхом на коне.

Особенно любил он произносить речи к лужскому пролетариату, сидя на лошади. Одно было неудобно, что во время самой патетической части его речи нетерпеливое животное вдруг начинало выкидывать кавалерийские выкрутасы, после которых оно срывалось с места и под смех публики мчалось вскачь в конюшню, невзирая на отчаянные махания всадника руками и ногами.



Командир полка Булак-Балахович был красивый мужчина лет сорока трех, среднего роста, плечистый, с черными, как смоль, усиками, которые он, сидя на лошади, любил покручивать правой рукой, а левой подбочивался, как полагалось лихому кавалеристу.

Появлялся он у нас на главной улице в сопровождении свиты из пяти-шести офицеров, среди которых особенно выделялся длинный и худой брат Балаховича Юзик и адъютант командира — ротмистр Аксаков, с выхоленной черной бородкой и сверкающими белизной зубами.

Кавалеристы-солдаты обращали на себя внимание не только постоянно опрятной формой и казачьими шапками с желтым верхом, но и дисциплинированностью, что в то время было уже редкостью. Почти все

были молодые люди, и многие из них производили впечатление юнкеров.

Все они звали своего командира «батькó». Как я впоследствии узнал, так называли солдаты своего начальника, во-первых, потому, что они любили его, как отца родного, и во-вторых, потому, что командир терпеть не мог, когда его называли «товарищ командир», как этого требовало новое военное начальство. Впрочем, трудно было разобратить, кто был непосредственным начальством батькá Булак-Балаховича.

В это время я из судебного следователя царского времени превратился волею судеб в начальника угрозыска города и уезда.

На мне лежала главная задача — бороться с преступностью, что в то время было очень трудно.

И вот вдруг ко мне стали поступать жалобы на кавалеристов Балаховича, мол, «урезоньте, господин товарищ, балаховцев, этих желтошапочников, шалют в огородах — партиями снимают наш урожай: картошку, капусту и прочие дары нашего мозолистого труда».

Звоню к батьке: так и так, товарищ командир, поступают жалобы на ваших ребят; снимают урожай на огородах, примите меры воздействия!..

А он в ответ:

— Не по адресу обратились!..

— Как так не по адресу! Вы же командир! — удивляюсь я.

— Так не по адресу: обратитесь к «генералу Скобелеву в ермолке»...

— Как вы сказали? К какому генералу Скобелеву? — переспрашиваю я с недоумением.

— К главе совета собачьих... фу, чёрт! — выругался смачно в телефон батько: ну, совета солдатских и прочих депутатов, к этому Сомову, пусть дает моим людям провиант и прочее, тогда и не будет реквизиций в огородах...

— Все это хорошо, но при чем тут городское население? — задаю я вопрос.

— А при том, что за действия своего председателя совета отвечают избравшие его, таков закон здравого смысла!.. Да вы знаете тех, кто жаловался вам на моих людей?

— Нет, лично не знаю, да и зачем знать? — спрашиваю я.

— А вам следовало бы знать! Ведь эти, так называемые потерпевшие, все родственники и единомышленники этого Сомова, они все бусурманы и поднимают гвалт... я справедлив и дал строгий приказ моим людям при набегах не трогать огороды мирного населения...

— Так, но ведь Сомов арестует ваших людей!..

— Пускай только попробует! — разнесем всю милицию по кирпичикам, а самого председателя повесим на фонаре! — закончил угрозой суровый батько.

Действительно, дня через три милиция в числе десяти человек нагрянула, по предписанию председателя горсовета, на трех балаховцев, занятых срубкой голов капусты у местного зубного врача, ярого коммуниста, и пыталась обезоружить их, но в это время, как бы случайно, проезжал мимо огорода батько со свитой — конечно, он был уже предупрежден о появлении гормилиции. Он остановился у огорода, где происходила свалка милиции с тремя балаховцами.

— Ну, ребята, что и как? Кого и за что нужно бить? — грозно крикнул он словами своего героя Тараса Бульбы.

Ответа он не получил, так как милиционеры, увидев отряд балаховцев, и во главе самого батька, оставили преступников с их капустой и бросились врассыпную во дворы под оглушительный хохот балаховцев.

Рассвирепевший председатель Сомов посылал в Петербург уже третью телеграмму с просьбой немедленно убрать Балаховича, не ручаясь, в противном слу-

чае, за порядок в городе. Но ответа на вопли Сомов не получал: видно там не до него было!

Еще хуже для советов происходило в деревнях уезда: там, где только появлялись отряды балаховцев, якобы для «водворения порядка» при оказанном населением сопротивлении заградительным отрядам, там вспыхивали настоящие восстания, причем большей частью получалось так, что убитыми оказывались коммунисты или члены комбедов.

Балаховцы после «горячего дела» с веселыми песнями возвращались домой с отбитыми у заградительных отрядов продуктами — зерном, мясом и хлебом.

Наконец в Петербурге обратили внимание на кавалерию батька и, конечно, там решили убрать буйного командира, но у последнего были в столице свои люди, и он покинул нас тогда, когда нашел это нужным. Только в конце октября, на радость совдепа, части Балаховича стали постепенно покидать наш город и подаваться в сторону Торшино, где уже была граница с немцами, занимавшими тогда город Псков.

*

В это время я, получив сообщение полиции станции Струги Белые об убийстве одного железнодорожника, отправился с местным судебным врачом на место происшествия.

Сели мы в вагон второго класса около двух часов дня. Было довольно холодно, видно вагоны давно не отапливались. В нашем отделении против нас сидели только трое мужчин в кожаных куртках, один из них был военный, что было видно по его выправке. У каждого из них сбоку висел кольт.

Они говорили между собой довольно тихо, причем этот военный пользовался особенным уважением товарищей, так как последние слушали его с особенным почтением, быстро соглашаясь с его мнением. Раза два

я слышал в их разговоре имя Булака. На следующей станции — остановка дольше обыкновенного. На платформе шумно. В чем дело? Подхожу к окну — вижу вся платформа занята балаховцами в характерных шапках с желтым верхом. За станцией взвод балаховцев с древками. Слышу команду «Сми-и-ир-н-о!» Затем — дружное «У-р-а-а! батько» и поезд медленно двинулся дальше.

Минуты через три в наш вагон с шумом и бряцанием сабель вваливаются балаховцы: впереди шел солдат с большим ящиком казенного образца на правом плече; за ним — второй, с запечатанным холщевым мешком; третий, рыжий детина, тоже нес ящичек из жести под замком; позади брат батька Юзик, затем адъютант Аксаков с портфелем в руках и, наконец, сам батько с веселым выражением на лице. Увидев нас, он остановился и сделал под козырек:

— Здравствуйте, товарищ командир, куда это вы, как будто покидаете нас? — спросил его доктор, сидевший ближе к проходу.

— Как видите, казну понесли: не оставлять же ее здесь! Мы к немцам «подаемся», здесь один кавардак! — раскатисто засмеялся батько.

Мы и все пассажиры в вагоне тоже стали смеяться, считая слова батька за шутку. Улыбались и наши мрачные соседи.

— Какого дьявола нам здесь еще ждоть!.. Мы вольные казаки, ей-Богу, мы едем!.. Ну, до скорого свидания! — крепко пожал он наши руки и пошел в последнюю купе, где, видимо, были резервированные для него места. Вскоре оттуда послышались звон стаканов и шумная беседа.

Через полтора часа поезд остановился на станции «Струги Белые». Мы вышли на платформу, где увидели балаховцев и эскадрон кавалерии у самой станции, а дальше другие отряды «желтошапошников».

Горнисты затрубили встречу.

— Смирно! Господа офицеры! — раздалась команда при выходе батьки из вагона.

Мы и трое столичных с кольтами некоторое время с любопытством смотрели на процедуру встречи батьки. Затем батьке подвели вороного коня, на которого батька легко вскочил. Лошадь радостно заржала и, почувствовав на себе хозяина-седока, легко загарцевала перед эскадроном.

Командир что-то сказал, что именно мы не слышали, так как он говорил спиной к нам и притом не очень громко, но кончил свою речь словами, которые мы ясно слышали:

— Итак, ребята, с Богом! Смелыми Бог владеет! Вперед! — и уже через минуту балаховцы во главе со своим батьком скрылись за поворотом улицы, лишь цоканье копыт лошадей давало знать, что бешено мчится кавалерия, удаляясь к западу.

Я отправился с доктором и двумя агентами на место преступления — в трактир, где лежало тело убитого железнодорожника. Там я провозился с обследованием места происшествия и допросами несколько часов.

Наконец, дело было кончено. Вечерний поезд уже отбыл обратно, с ним уехал доктор, а мне с двумя агентами пришлось ждать ночного поезда.

Мы отправились в комнату дежурного, где я вскоре в тепле и задремал. Проснулся я что-то через час от громкого и властного окрика:

— Товарищ начальник, где тут у вас прямой провод с Ленинградом?

— Здесь, в соседней комнате, а что вам угодно?

— Я должен по служебным делам немедленно говорить с товарищем Урицким... я его помощник...

С любопытством повернул я голову к входной двери. Смотрю в нашу комнату вошли трое наших спутников — все со взволнованными лицами.

Старший — военный, прошел в аппаратную, отку-

да вскоре мы услышали, к сожалению в отрывках, следующий, крайне интересный разговор.

— Все было сделано, товарищ начальник, но... но поздно: этот изменник — Балахович терроризовал всю местность и у Торошино перешел границу... к немцам!..

Мы молча переглянулись.

— Да, мы энергично ведем расследование... Да, конечно, останемся здесь. Подробности лично доложу... Все было сделано... Слушаюсь!..

Тут к станции тихо подкатил поезд и мы быстро вышли из комнаты дежурного. Уехали мы, оживленно обсуждая происшедшее.

Через несколько дней я узнал подробности этого крайне смелого перехода батьком границы к немцам.

Оказывается, те «товарищи» с кольтами, в присутствии которых батько громогласно объявил о предстоящем переходе всего полка через границу, были эмиссары, командированные революционным штабом из Ленинграда арестовать батька и его штаб. В распоряжении эмиссаров были два полка, стоявшие в Лужском уезде: артиллерийский и Изборский пехотный; когда балаховцы двигались походным порядком и с песнями к пограничной станции Торошино, то Изборский полк после обмена речей с батьком отказался арестовать последнего, а артиллеристы после митинга объявили себя нейтральными, и балаховцы с музыкой перешли границу, причем батько торжественно обещал вскоре вернуться и расправиться с большевиками.

*

Вторая моя встреча с батьком состоялась уже во Пскове, куда я был переведен после оставления города немцами. События тогда мчались скачками.

Гражданская война опустошала Россию, и мечтой моей было выбраться, как можно скорее, на запад, чтобы только уйти из полосы непрерывных боев, грабежей и бесправия.

Большевики, однако, недолго хозяйничали во Пскове: в мае 1919 года эстонские части, во главе с полковником Лайдонером, заняли Псков, и я с семьей остался там.

Через неделю после вступления эстонцев в седой Псков слышу я на улице любимую песню балаховцев «Как ныне собирается вещей Олег». Открываю окно. Смотрю, по улице с развернутыми знаменами медленно движется полк Балаховича. Обмундирование у солдат новенькое. Впереди на вороной лошади сидит, как всегда подбоченясь, батько и правой рукой щиплет ус, рядом — длинный Юзик, а позади — ротмистр Аксаков. У всех вид гордый, а на лицах сияют улыбки, как полагается победителям.

«Мы победили, — враг бежит!..
Так громче музыка...»

О, слава военная! — подумал я, — ты кратковременная, как дым! Я уже знал, что Псков незначительными силами белых удержан быть не может, и скоро нам всем придется «по стратегическим соображениям» рысью двигаться на запад. Ведь мы все — жалкая кучка по сравнению с полчищами большевиков.

Но бойцам это неважно! Ни в какой иной профессии, кроме военной, не ценится так дорого настоящий момент: «хоть миг, да мой!», — вот лозунг настоящего вояки.

Оказывается, полк батька уже несколько недель участвовал в боях с большевиками и последнее время стоял под Псковом, ведя непрерывные сражения с красными.

В Псков вступил полк Балаховича для замены эстонских частей, которые возвращались на отдых в Эстонию, а батько должен был следить за порядком и охранять город до прибытия корпуса ген. Арсеньева.

И вот тут-то батько и воспользовался случаем обратить город в своего рода Запорожскую сечь.

Я думаю, что кратковременное пребывание батька в Пскове было для него одним из самых счастливых, наиболее приблизивших его к подвигам легендарного Тараса Бульбы.

Во-первых, батько почти ежедневно выезжал за город, где вступал в бои с красными и всегда возвращался с богатой добычей: с пленными, отбитыми пушками, пулеметами и возами, набитыми провиантом.

Вступление в город победоносных балаховцев было обставлено весьма торжественно: впереди ехал батько со свитой, за ним отряд бойцов захвативших идущих посредине улицы обезоруженных красноармейцев, по сторонам последних шли конвойные с ружьями на перевес.

Это внушительное зрелище было похоже на триумф римского полководца, вступавшего в Рим, особенно если было много пленных, большей частью добровольно сдавшихся. Оркестр играл веселый, бравурный марш. Улицы были запружены любопытными. И нам, мирным горожанам, порой казалось, что мы побеждаем, и на душе становилось легко и хорошо. За эти, пусть обманчивые, но приятные минуты, горожане всегда были благодарны батьку, особенно, когда по вечерам, для придания бодрости населению, в садах играли оркестры, заглушая пулеметную трескотню и орудейную пальбу за городом.

Во-вторых, при штабе своем батько устроил вербовочное бюро, куда принимали добровольных новобранцев на условиях, очень сходных с условиями Запорожской Сечи. Кандидата, правда, не спрашивали, как в Сечи: «во Христа веруешь? И в Троицу Святую веруешь?.. И в церковь ходишь?.. А ну, перекрестись!»

У нашего батька было проще — без особых религиозных вопросов, ибо само собой понималось, балаховец нехристом быть не мог.

Батяка только спрашивал:

— Большевиков не любишь?

— Нет, — отвечал кратко записывающийся, — иначе не пришел бы сюда.

— За национальную Русь сражаться при всяких обстоятельствах согласен?

— Согласен...

— Ну, тогда заполни анкету и отправляйся в казарму!

Вот и вся церемония! Да, иногда, когда при этом приеме присутствовал полковой казначей, то последний вставлял свой финансовый вопрос:

— Деньги есть?

— Иногда бывают!

— Ну, у нас порядок, дружок, такой: «с друзьями делись, а с врагами дерись!» — со смехом заканчивал порядок приема казначей.

Учение, однако, происходило довольно строго: «повоенному».

Вояки балаховцы были отчаянные: они не щадили жизни врагов, но и своей жизни не жалели. Не мало погибло их в бою. И многие погибли у большевиков от страшных пыток и мучений! Зато и батяка круто расправлялся с коммунистами.

*

Гражданская война ужасна, главным образом, тем, что не признает ни международных конвенций, ни местных военных законов, ни, наконец, правил, установленных Красным Крестом! Она наиболее приближает наше время к жуткому средневековью, а по жестокости часто даже превосходит его.

Проявления средневековой романтики — великодушного прощения побежденному врагу, защиты вдов и сирот и т. п. — в гражданской войне считаются «слюнтяйством» и «буржуазной нежностью». Отступления от этого бывают очень редко и считаются делом

частным, в зависимости от настроения вождей, а не обычаем.

Батько, собственно говоря, был партизан, включенный с его полком в регулярные части на правах своеобразной автономии, частное же его мировоззрение было навеяно романтикой, почерпнутой из повести «Тарас Бульба» — сочинения Гоголя, которым батько увлекался еще в гимназии.

Под влиянием этой романтики он устраивал на улицах много перевидавшего города Пскова публичные казни, отбросившие нас на несколько веков назад. Устраивал же батько эти казни еще и вследствие наивной уверенности в том, что такая казнь, якобы, отпугнет коммунистов от их подпольной деятельности, а сочувствующих им — от содействия!

В один из теплых, весенних дней пришел я на центральную улицу города, которая, к моему удивлению, несмотря на раннее время, была вся запружена народом. Из разговоров соседей я узнал, что все ожидают казни каких-то преступников-коммунистов.

Из этих разговоров я понял далее, что гражданская война порядком притупила нравственное чувство граждан и большинство из них привыкло к самым ужасным системам правления властей, занимавших город, поэтому население относилось ко всему происходящему, если и без сочувствия, то все же с фатальной покорностью, к которой примешивалось, конечно, и острое любопытство.

В ожидании прибытия смертников горожане толковали больше всего о рыночных ценах на продукты, о затруднениях жизни, а некоторые сравнивали режимы оккупационных властей. Молодежь весело болтала, луща семечки.

Короче говоря, картина места казни была весьма схожая с картиной места казни Остапа, талантливо нарисованной Гоголем.

На кронштейнах фонарных столбов висели веревки, — таких столбов было пять.

Ждать пришлось недолго. Вдруг все стихло. Головы всех повернулись к началу улицы, где показались балаховцы, сдерживавшие толпу, а за ними конвойные с ружьями наперевес. По середине улицы шли пять смертников с завязанными назади руками.

Позади на вороной лошади ехал батько со свитой, далее взвод конных балаховцев. У первого столба, от которого я был довольно далеко, шествие остановилось. Как совершалась там казнь, — я не видел. Я слышал только, что батько что-то говорил среди жуткой тишины.

Затем толпа ахнула, и головы всех повернулись к столбу, где стояли верховые.

Я тоже взглянул туда и увидел качающийся на веревке труп повешенного.

Шествие двинулось в нашу сторону и тут я увидел все что происходило.

У фонарного столба балаховцы остановились. Конвойные тащили к фонарю упирающегося парня лет 25-ти и поставили его около столба, у которого один конвойный бросил табуретку.

Смертник со связанными назад руками сначала пытался было освободиться от пут, но, поняв бесполезность попытки, вдруг как бы застыл на месте и с фатальной покорностью стал смотреть вниз.

К нему подъехал батько.

Толпа замерла. Слышалось только нежное пение птичек, по-прежнему воспевавших солнечное сияние дня и бытие живущих.

Это пение птичек в такой страшный момент мне особенно врезалось в память!

Я даже подумал: «Господи, жизнь так хороша, а здесь вот она кончается, там у фонаря... За что ее уничтожают?»

— Коммунист? — прервал мои мысли вопрос батька.

— Был, а теперича не коммунист, — ответил смертник, не отводя взора от земли, с которой он как будто прощался.

— Все так говорят, когда попались!.. В Бога-то веришь?

Спрашиваемый молчит.

— Граждане, кто берет на поруки этого человека? — обратился батько к народу, указывая хлыстом на смертника.

Общее тягостное молчание... Я заметил, что все сосредоточенно думали и думали, как мне казалось, то же самое, что и я: «Жаль парня, может быть, он и в самом деле теперь не коммунист? А жизнь-то молодая!.. Ну, а если он притворяется — остался большевиком, да еще шпион и может убежать! Меня арестуют, посчитают за сообщника и засадят в тюрьму, и может быть еще повесят... По нынешним свирепым временам все может случиться! Нет: опасно брать его на поруки!»

— Так, значит, никто не хочет брать его на поруки? — и с этими словами батько поднял кверху хлыстик — роковой знак «повесить!»

Стоявшие у столба балаховцы быстро накинули петлю на несчастного, но последний вдруг с каким-то остервенением сильным движением руки освободился от пут и правой рукой рванул петлю, причем сорвал ворот рубашки, обнажив загорелую грудь, на которой висел медный крестик.

— Отставить! — прогремел батько.

Толпа замерла.

Поднявшие бледного смертника на табуретку конвойные при этой команде остановились, повернув голову в сторону своего командира.

— Откуда у тебя крест на груди?

— Матка повесила, когда в солдаты уходил, — глухо ответил смертник.

— Счастлив ты! Знать, молитва матки твоей дошла до Бога! Ты свободен! Отпустить его! — приказал батюшко, трогая поводья.

Толпа дрогнула: по ней, хранившей до сих пор гробовое молчание, прокатился одобрителный гул, обратившийся быстро в подлинную овацию по адресу батюшка.

— Правильно! Ай, да батюшко! Оно, действительно, молитва матери — великое дело! — раздавались отдельные возгласы в толпе.

— Ур-а-а! — вдруг прокатилось по улице.

Батюшко ехал к следующему столбу с довольной улыбкой на лице, держа руку под козырек. Он знал хорошо, что в глазах народа он сделался героем, и это обстоятельство радовало его.

Большинство зрителей не пожелало больше смотреть на это потрясающее зрелище казни и стало расходиться. Я тоже пошел домой.

Обдумывая в пути пережитые во время казни чувства, я поймал себя на мысли, что и я также повинен в том грехе, в котором обвинял толпу, а именно — в праздном любопытстве: ведь я так же, как и все, был как бы загипнотизирован и не был в силах оторвать взоров от смертника, остро переживая его чувства. Только теперь я вспомнил, что во время казни меня несколько раз бросало в жар. Домой пришел я совсем разбитым и больным. Днем я не находил себе покоя, а ночью несколько раз просыпался в холодном поту, видя кошмарные сны. После этого незабываемого на всю жизнь дня я пролежал в кровати неделю. Да, бывают такие страшные дела, которые даже видеть нельзя безнаказанно!

Через два дня в Псков прибыл ген. Арсеньев со своим корпусом и публичные казни прекратились.

Власть батюшка в городе кончилась, и штаб его снова был переведен за город. Вскоре он уехал в Эстонию, откуда через несколько дней опять вернулся и стал показываться на улицах нашего города уже не со

свитой, а вдвоем: его сопровождала на белой лошади красивая и изящная женщина в черном костюме амазонки.

По городу ходили слухи, что спутница батька — его невеста, эстонская баронесса. Она — большая любительница острых ощущений и не раз сопровождала батька в боях и даже участвовала в опасных перестрелках с красными.

Это препровождение времени батька с баронессой весьма не нравилось его «сынкам», которые теперь уже редко сопровождали батька.

Псковичи обратили внимание и на то обстоятельство, что балаховцы во время прогулок теперь часто пели песню «Стенька Разин», причем с особенным ударением, так сказать «со слезой», пели ту часть песни, в которой говорится о персидской княжне:

Позади их слышен ропот:
«Нас на бабу променят...»

и весело-задорно звучали их голоса при словах:

И, чтоб не было раздора
Между вольными людьми,
«Волга, Волга, мать родная,
На! Красавицу прими!»...

Каждый из певших мечтал, что батько бросит, наконец, баронессу и снова будет все свое время проводить с ними! Но, видно, Стенька Разин не был героем романа батька, и последний не бросил баронессу в волны реки великой, а снова уехал с нею в Эстонию.

В Псков батько уже не вернулся, так как город вскоре был оставлен белыми. Батьку пришлось со своим полком отбиваться от нападающих красных и задерживать их.

В Эстонии, где сорганизовалась Белая армия во

главе с ген. Юденичем, батько попал в зависимое положение от начальника дивизий и нес разведывательную службу на передовых позициях, где скоро выдвинулся лихими набегами, но с начальством своим не ладил.

Геройская Северо-Западная армия не долго вела борьбу с большевиками: она во второй половине октября 1919 года, взяв Гатчину и Красное Село, подкатилась к самому Петрограду, но, увы, успела только молитвенно поколониться сиявшему при солнечном освещении куполу Св. Исаакия: под напором превосходящих сил Троцкого она быстро отступила и после боев вошла в границы Эстонии и там была обезоружена.

Большую роль в этой неудаче Северо-Западной армии сыграл английский премьер-министр Ллойд-Джордж, в самый критический для армии момент отдавший приказ своему флоту прекратить осаду Кронштадта, чем оказал величайшую услугу большевикам, за которую поныне тяжело расплачивается не только Англия, но и вся Европа, а больше всех — русский народ.

Чины Северо-Западной армии после эстонско-советского мира были расформированы и отправлены на тяжелые лесные и торфяные работы.

Батько пытался со своей частью совершить переворот, или военный «путч», как тогда выражались: он хотел арестовать командующего армией ген. Юденича, но его последний буйный набег не удался, и батько с остатками своего полка покинул Эстонию и в чине генерал-майора переправился в Польшу. Там, в Полесье он организовал для своих ребят большие лесные работы.

Как некогда в древнем Риме Цинцинат после спасения отечества переменял меч на плуг, так и батько, хотя и не спас родины, но, повесив военные доспехи на стену, взялся за топор и пилу.

Через несколько лет батько приобрел под Варшавой небольшое имение и, зачисленный в резерв поль-

ской армии в чине генерала, мирно жил как хуторянин, работая по сельскому хозяйству. Раз в неделю отдыхал среди бывших соратников, вспоминая

«...минувшие дни,
И битвы, где вместе рубились они...»

Один из соратников генерала-партизана позже писал мне, что следивший за политическими событиями батяко часто говорил о предстоящей решительной схватке христианских народов с безбожными поджигателями мировой революции: «Я знаю, — некоторые из вас посмеивались над моим увлечением Тарасом Бульбой, который был естественный тип средневековья, — говорил он, — но я любил его за упорную непримиримость к врагу, за стойкость в христианской вере, свободолюбие и преданность своим товарищам. — Он и погиб страшной смертью за эти идеалы... Я убежден, что скоро настанут страшные времена, которые по силе человеконенавистничества, жестокости и преследования христиан и вообще верующих в Бога превзойдут не только средневековье, но и жуткую эпоху ассирийских и египетских царей... Да, господа, скоро еще нам придется отвечать на вопрос: «во Христа веруешь?», причем утвердительный ответ будет требовать немедленной защиты с оружием в руках христианской цивилизации. Поверьте мне, вопрос будет так поставлен: или победить, или влачить жалкую жизнь раба и лизать пятки большевистского хама!» — закончил он свое предсказание. И вот не прошло и десяти месяцев после этих слов батяка, как немцы, в сентябре 1939 г., напали на Польшу, и почти в то же время большевики, перейдя польские границы, вероломно ударили полякам в тыл.

Булак-Балахович, видимо, не разобравшись в тонкостях немецко-большевистской дипломатической игры, объявил о формировании отряда для похода против

большевиков. В это время в Польше царила сумятица. Записалось в отряд около ста кавалеристов, преимущественно из разгромленных немцами полков польской армии, но отряд, не дойдя до советских сил, рассыпался.

После падения Польши батько жил в подполье Варшавы, где, как говорили, он играл какую-то роль, видимо, имел отряд. Тот же самый соратник батька писал мне, что он в 1940 году видел Булак-Балаховича в предместье Варшавы — Праге. Он едва узнал генерала, так как последний был «законспирирован» — в плохой одежде и с большими роговыми очками на носу.

— Это батько, — не подходи к нему, он скрывается и от немцев и от большевиков! — шепнул моему корреспонденту его спутник.

А через несколько месяцев после этой встречи батько был убит там же, в Праге. Кто именно убил его — немцы или большевики — трудно ответить.

Подробности этого убийства очень скудны. Некоторые очевидцы рассказывают, что под вечер, когда генерал проходил по тротуару, его нагнал почти против Виленского вокзала какой-то черный автомобиль, в котором сидели четыре или пять господ в штатском. Как по команде все выстрелили из револьверов в спину Булак-Балаховича, который, как сноп, повалился на землю. Возникла паника, во время которой убийцы исчезли.

Так печально кончилась жизнь генерала-партизана, заклятого врага большевиков. Погиб он при обстоятельствах, далеких от романтики, — от трусливых убийц из-за угла.

Вскоре после этого кровавого события немцы арестовали заместителя батька — эсаула Яковлева, который был отправлен в концентрационный лагерь Аушвиц, где и погиб в апреле 1941 года.

НЕОЖИДАННОЕ СПАСЕНИЕ

В Луге, сойдя с новгородского поезда, уныло побрел я в штаб полка, в канцелярии которого работал мой шурин. Уже вечерело. На улицах — непролазная грязь.

Принял он меня хорошо, накормил и предоставил мне свою комнату. Мы задушевно побеседовали и решили дальнейшие заботы отложить на утро, согласно пословице: утро вечера мудренее.

Но заснуть в постели я долго не мог: меня мучил страшный вопрос: что мне делать, куда бежать? Положение мое было ужасное: Петроград — во власти большевиков, оттуда накануне я еле ноги унес. Учредительное Собрание разогнано. Правит всем Совет рабочих и солдатских депутатов, «Сам император в плену» (Тобольск). В Новгороде, где я работал в санитарном отделе штаба, осталась моя семья, а я как член военного Союза Защиты Учредительного Собрания, разогнанного большевиками, должен был бежать, так как членов Союза арестовывали и ссылали в Петроград на верную смерть. Меня ищут. Где спасение? — при этом вопросе я заснул.



Наутро после завтрака я пошел без всякого плана погулять по городку. Проходя по главной улице, название ее забыл, я остановился перед деревянным домом, на стене которого у входа висела замазанная белой краской вывеска. Она почему-то привлекла мое внимание, так как сквозь белую краску виднелись некоторые слова, как: «Нотар.. М. ..ащенко». «Может быть здесь живет Макс Гащенко, мой университетский товарищ» — подумал я, и тут же решил зайти к нему.

Боже мой! неужели это он? Ведь с ним я готовился к государственным экзаменам в Петербурге, но потом, после объявления войны, я как-то потерял его из виду, потому что он уехал из столицы, где он работал как адвокат, а я отправился на фронт. Все это прошлое пронеслось в моей голове, пока я поднимался к нему по лестнице во второй этаж. Дверь к нему была полуоткрыта. С некоторым страхом вошел я в большую приемную, в которой сидели у стен несколько человек в военной форме, но без погон. Никто меня не встретил и я тоже сел на стул, стоявший против двери в кабинет, с любопытством ожидая, что будет дальше? Тут же я решил, что, если лицо, находящееся там за дверью, не Гащенко, то я все равно буду просить какой-нибудь работы. Конечно, скрою мое имя.

За дверью было тихо. Вдруг раздался телефонный звонок и ясно слышу голос Макса. «Да это он!» — радостно подумал я.

«Возьмите два десятка казаков и в поход в деревню Мощино, успокойте, водворите порядок, через час я буду там...»

Сердце мое сжалось: «Гм...», — подумал я, — «неужели он большевик? Ведь ясно деревня восстала против большевиков?.. Мое дело дрянь, пойду лучше на улицу». — И я встал и направился к выходной двери.

Как раз в это время дверь из кабинета открылась и появился Макс, в чем я убедился, обернувшись лицом к нему.

— Геня, это ты... Куда же... Кабинет здесь... Иди ко мне!

«Ну,» — думаю я, — теперь все равно, он узнал меня. «Спаси Господи!» — и я быстро вошел в кабинет.

— Товарищи, простите, но я должен принять вне очереди товарища с фронта! Важные известия — сказал Гащенко посетителям, закрывая дверь. Затем он быстро и радостно стал обнимать меня.

— Подожди, Макс, скажи ты с большевиками или нет, это важно для меня, очень важно...

— Что за вопрос, конечно, не с ними... но об этом после... Вот рад, что тебя вижу, а то все один в этой кутерьме... ну, как живешь, рассказывай скорее, — говорил он, усаживая меня в кресло у его стола.

Все тот же прежний экспансивный и участливый Макс, правда, похудел и в красивых его глазах я заметил беспокойство, но голос — все тот же бодрый...

— Какое положение ты занимаешь тут — у тебя в приемной много посетителей!

— Я — начальник уезда по назначению Временного Правительства, но надолго ли? Не знаю... теперь все неустойчиво... Ну, а ты, как живешь?

Кратко рассказал я о себе, обрисовав критическое положение человека, которого ждет расстрел...

— А, так тогда ты кстати ко мне явился. У нас исчез мой помощник — начальник милиции, видно на юг подался, так вот ты и заменишь его! Согласен?

— Конечно, Макс, большое спасибо, но ведь меня преследуют большевики, арестуют — и конец!

— Никто тебя не арестует пока я на месте. Итак, согласен? Остальное я все сделаю — сказал он, подписывая приказ о моем назначении.

— У меня, брат, все делается быстро!.. Время революционное, быстрота и натиск главное! — закончил он весело.

«Милый Макс! Такой же решительный и порывистый, как и раньше в студенческое время. Революция и борьба за жизнь еще не наложили на него печати уныния и отчаяния», — думал я, следуя за канцеляристом в столовую, где Макс просил меня ждать его.

Через час пришел Макс и мы сели к столу, который накрыла хорошенькая Катя, она же и кухарка.

Наговорились во время еды вдоволь. Оказывается, хозяин, после того, как я отправился на фронт, уехал в Лугу, так как профессия помощника присяжного по-

веренного в столице плохо кормила его. Узнав о свободной вакансии нотариуса здесь, он при своих связях в юридическом мире легко получил место нотариуса.

— Жил я здесь хорошо, работой не был завален, часто охотился и раз в неделю ездил в Петербург на премьеры в театрах, особенно в Мариинском, а ночью, уже после театра, ужинал у Кюба или Донона, затем на Щукинском поезде мчался домой, в четыре часа утра попадал в объятия Морфея... В десять часов утра сидел свежим за работой в кабинете. По воскресеньям у меня были приемы... Кроме того, я много читал, а читать я всегда очень любил!

На мой вопрос, как он сделался начальником, то есть комиссаром уезда, Макс ответил:

— Благодаря Керенскому. Когда я учуял, что нотариальная контора дело гиблое, — какие тут сделки, когда все летит к чёрту! — я предложил Керенскому свои услуги, как, например, комиссара уезда. Он сразу назначил меня комиссаром Луги».

На мой вопрос, как идут дела в уезде, он с грустью в голосе ответил:

— Плохо. Условия работы в настоящее время крайне неблагоприятны, так как совдеп, где большая часть членов его — большевики, которые мутят народ: везде беспокойно — в уезде грабежи, пожары, самовольный захват у помещиков земли, а убийства — бытовое явление!.. Всем тяжело — деревня бунтует, моему маленькому отряду «казаков» — так этих несколько человек называют в уезде — даже ночью нет отдыха!

— Я слышал, как ты по телефону отдавал приказания отряду...

— Да, я приказывал водворит порядок, успокоить, пресечь убийства и тому подобное — это долг исполнительной власти, главное, я стараюсь быть справедливым...

— Вот теперь я вижу, как тебе тяжело, — сказал я, — и не знаю, справлюсь ли в городе, ведь я не слу-

жил в полиции, да и с совдепом мне будет трудно работать!

— Не беда, что в полиции не служил, — утешал он меня, — зато ты юрист, да еще сенатский — это больше, чем надо для начальника города! Да еще в дни гражданской войны. Конечно, с совдепом и тебе будет нелегко ладить, но ведь ты будешь жить со мной, мне тоже нужен советник... А где твоя семья?

— В Новгороде у так называемой «богородицы».

— Как так «богородицы?»

Тут я рассказал ему про Охтенскую богородицу и как получил у сектантки квартиру. Долго смеялся мой друг.

— Да, наша жизнь — самая великая шутница... Ну, мы еще не то увидим! — весело заключил он, а пока я предлагаю тебе вторую половину моей квартиры, там две комнаты, довольно большие... переезжай туда и живи себе на здоровье, согласен?

Конечно, я с благодарностью согласился.

— Ну, а теперь выпьем за твою новую должность по бокалу токайского, — предложил он. Выпили.

— Думал ли ты, что попадешь в пристава! Я тоже не думал, что сделаюсь начальником уезда — не для того мы университет кончали... Да, повторяю, жизнь великая шутница! Занавес величайшей трагикомедии России взвился... Блажен, кто уцелеет!

К шурина домой я не шел, а летел: «Я спасен! Я спасен! Вместе со мной и моя семья! Ведь это чудо!» — Все ликовало во мне. Пробегая мимо церкви, я перекрестился, взглянув на крест, что весь сиял лучами солнца.

«Слава Тебе, Господи! На все Твоя воля! Не знаю, как будет завтра, но мой челнок с семьей пока колыхается на волнах бурного житейского моря!» — думал я.

Через месяц чекисты арестовали Макса и отправили в Петербург, где мне найти его не удалось. Я же значительно позже перебрался с семьей во Псков.

ТЯГОСТНЫЙ СЛУЧАЙ

В одно прелестное утро, когда Псков был занят белыми, ко мне в редакцию газеты пришла жена рабочего Турнова и, плача, просила спасти ее мужа, арестованного белыми. Его, мол, «присудили к смерти». Я немедленно по телефону соединился с контрразведкой в штабе армии, там мне сообщили, что дело Турнова находится у военного товарища прокурора Вавилова, который меня сразу и принял.

Вавилов, изящный молодой офицер с тонким обращением производил впечатление недавно кончившего Императорское Училище правоведения. Я отрекомендовался и изложил цель моего визита к нему.

— Турнов... Турнов, кто этот Турнов? — стал он вспоминать.

— Да, вспомнил, вчера на суде решали дело о каком-то коммунисте Турнове, он подлежит расстрелу..., впрочем, я проверю, — сказал прокурор, нажимая кнопку электрического звонка.

Меня такое отношение военного прокурора к осужденному возмутило: человека осудили на смерть при его непосредственном участии, и он еще не помнит хорошо этого важного обстоятельства!

О моем возмущении я дал понять словами:

— Не может быть, господин прокурор, чтобы вы не помнили о вынесении смертного приговора Турнову, ведь здесь решался важнейший вопрос для человека, вопрос о его жизни!

— Да, да, но ведь теперь военное время, когда гибнут десятки тысяч человеческих жизней! Неудивитель-

но, что фамилию одного из них и забудешь! — говорил он беспокойно, вытирая платком лоб.

Но вот появился военный писарь, которого прокурор спросил, что там с Турновым?

— Он вчера осужден военным судом на смертную казнь, но приговор еще не утвержден, а осужденный находится в камере смертников... Сейчас принесу дело, — сказав это, писарь ушел.

Другой писарь принес дело. Оказывается Турнову вменялась в вину лишь критика действий военных властей, главным образом, Булак-Булаховича за его публичное вещание людей.

Я выразил крайнее удивление такому решению военного суда, тем более странно, что под приговором значилась только подпись прокурора.

— Я немедленно обжалую этот приговор командующему армией, — сказал я, — тем более, что приговор еще не утвержден, да и подписан только вами! Турнова я знаю хорошо и ручаюсь за него, что он не коммунист и никогда таковым не был, а расстреливать за критику — это неслыханно!..

— Так вы лично знаете его и ручаетесь за него? — спросил прокурор.

— Знаю и ручаюсь за него!

— Тогда подпишите эту бумажку, — сказал с улыбкой он, положив на стол напечатанное ручательство передо мною, которое я с облегченным сердцем подписал.

— Да, скажите, пожалуйста, не знаете ли, от кого мадам Турнова узнала о том, что ее муж будет завтра расстрелян? — спросил прокурор, подписывая бумагу об освобождении Турнова из тюрьмы.

— Точно ответить затрудняюсь, но думаю от кого-нибудь из служащих у вас...

— Членам суда я сегодня же сообщу о вашем ручательстве за Турнова, и о подписанном устном заявлении, что он не коммунист. Вы удовлетворены?

— Да, благодарю вас, но все же не могу не напомнить вам, что вас и меня профессора права учили, что прокурор должен, защищая интересы государства, ограждать и человеческое достоинство членов его.

— Да, да, конечно, но, понимаете ли, невероятная ночная работа, нервы и все такое... Да вот вы говорили, что были судебным следователем. Вы поручились за Турнова, и этим спасли человека! Вы могли бы еще многим людям оказать помощь, если бы поступили к нам, как следователь, ведь у меня нет ни одного судебного следователя — все бывшие околоточные надзиратели, которые с юриспруденцией знакомы только по наслышке... Право, поступайте к нам, будем рады!

Не желая портить налаженных хороших отношений с прокурором, я вежливо поблагодарил за предложение и обещал подумать.

На этом мы простились. Конечно, в центрразведку я не поступил, хотя Вавилов два раза присылал чиновника узнать у меня, решил ли я этот вопрос?

Дальнейшие быстрые события во Пскове, главное, эвакуация в Нарву, отложили мой ответ до греческих календ.

Трудно себе представить, как счастливы были супруга Турнова и их дети! Он со всей семьей пришел к нам и сердечно благодарил за спасение.

*

Через неделю в город вступил корпус генерала Арсеньева. Власть «Запорожской Сечи» кончилась, прекратились и «народные» казни. Эстонцы тоже постепенно исчезали из города.

Генерал Арсеньев сразу же стал налаживать расстроившееся городское сомоуправление и, судя по именам членов городской управы, довольно демократическое. Запомнились имена нескольких членов: Эрна, Богданова, Горна и Тихоницкого. Первый был извест-

ный в Риге преподаватель математики; второй — Богданов — землемер социалист-революционер; третий — Горн — местный адвокат и четвертый — Тихоницкий Елпидифор Михайлович — передовой учитель, так же, как и Эрн, большой идеалист и автор учебников по русскому языку. Порядок в городе, казалось, налаживался. Вся наша семья была в сборе.

После ухода большевиков и до прихода корпуса Арсеньева я не работал, приискивал подходящее место. Долго не искал; на пятый день после прихода корпуса в город явился ко мне некий Кондрашов, лет сорока, владелец маленькой типографии, и предложил редактировать небольшую русскую газету, если он получит разрешение издавать ее. Я долго не думал и согласился. Мы отправились к брату корпусного генерала, действительному статскому советнику, который ведал гражданской частью правления во Пскове. Согласился, но предупредил, что в городе военное положение и мы должны считаться со строгой цензурой, каковой он ведает сам. От него мы будем получать сводки военных действий и распоряжения военных и гражданских властей. Помялись мы, но все же решились на издание газеты, которую называли «Заря России».

Я стал писать передовые статьи, Кондрашов же с двумя местными репортерами доставляли хроникерский материал. Мы сразу же ночью почувствовали себя, как в тисках: ровно в двенадцать часов в типографию являлся цензор, получал гранки или рукопись, садился за стол и с какой-то свирепостью бросался в атаку против рукописи.

Цензор, на вид пятидесяти лет, был выше среднего роста, быстрый в движениях, шатен, с тонкими чертами лица и холеными короткими усами. Он показал себя решительным человеком, не терпящим возражений. Сидел я против него за другим столом и, страдая, наблюдал, как он гневно зачеркивал красным карандашом целые предложения и даже писал сверху за-

черкнутой фразы новую, что совершенно было недопустимо для цензора, так как искажалась мысль автора. О чем я и сказал ему, но он возразил, что он военный цензор и обязанности свои знает.

Пострадавшим от произвола цензора автором большей частью оказывался я, так как мне приходилось писать передовые статьи.

Вначале я спорил, волновался, грозил бросить редакторство, но все мои доводы были равносильны гороху, который бросали в каменную стену. Раз он угрожал предать меня военному суду за ослушание, так как я накануне, не обратив внимания на его нелепые вставки, послал в печать мою статью в первоначальном виде, но цензор явился позже в редакцию и потребовал на просмотр уже сверстанную газету. Что тут было! Грозил газету закрыть. Газета выходом опоздала и вышла в свет с черной полосой вместо передовой.

Разногласия наши состояли в том, что цензор налегал на диктаторский образ правления, а я пытался провести в газету мысль о демократическом правлении, даже и в занятой белыми области. Зато газета наша имела хороший тираж, что, видимо, подействовало и на цензора, так как он стал мягче и сократил свои зачеркивания, а главное свои нелепые поправки.

ДВЕ ЗАГАДОЧНЫХ СМЕРТИ

*«И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от Божьего суда».*

1. Сенсации, поразившие Ригу

12 октября 1934 года все население латвийской столицы Риги, особенно русское, было потрясено кратким официальным сообщением об убийстве главы православной церкви в Латвии и члена Сейма — архиепископа Иоанна.

Не успело русское население прийти в себя от этой потрясающей вести, как вечером того же дня по улицам города неслись, как табун степных лошадей, мальчишки-газетчики с оглушительными криками:

«Экстра-телеграмма: подробности загадочного убийства архиепископа и внезапная смерть знаменитого русского певца Собинова».

Люди наперерыв требовали экстра-телеграмму: некоторые буквально вырывали из рук газетчиков печатные листки и тут же жадно пробежали глазами напечатанное.

Эта новость поразила и меня: ведь лишь неделю тому назад я, как сотрудник русской газеты, беседовал с архиепископом там, на даче, где он теперь зверски убит.

Но при чем тут почти одновременная смерть Собинова?

Архиепископ Иоанн, по происхождению латыш — Поммерн, из лифляндских крестьян, по окончании Рижской духовной семинарии поступил в Киевскую

духовную академию, где и принял монашество. В 1912 году он — архиерей, 36 лет, немного позже — архиепископ в г. Пензе. По прибытии в Ригу, он в 1921 году избирается главой латвийской православной Церкви, а через четыре года проходит по списку православных и объединенных русских организаций в Латвийский Сейм. Там я, в качестве парламентского корреспондента, впервые увидел его и познакомился с ним. Высокого роста, плечистый, умные, большие глаза с орлиным взглядом, толстые губы, слегка скрывааемые большой, окладистой бородой, энергичная и даже величавая походка архиепископа невольно привлекали внимание всех.

Каждое выступление его в Сейме было своего рода политическим событием и вызывало в палате депутатов много оживления, так как он был блестящим оратором и природным борцом со злом, особенно с марксистами, в которых видел ярых врагов не только Церкви, но и каждого правового государства. А в Латвии в то время марксисты, главным образом, социал-демократы, имели в Сейме из общего числа 100 депутатов — 32 представителя, плюс еще 4 меньшевика и один бундовец, всего 37 человек, весьма влиявших на политику парламента.

«Социалистическая рабочая партия», как официально именовали себя латвийские социал-демократы, относилась дружественно к коммунистам и последние под ее крылышком быстро развили в стране свою преступную деятельность; только благодаря правому крылу Сейма во главе с крестьянской партией (Карл Ульманис) большевикам не удалось сразу захватить власть в республике и пришлось довольствоваться подпольной работой и шпионажем в пользу восточного соседа, ожидавшего лишь благоприятного времени для прыжка в Прибалтику.

Пробыв несколько лет в России при господстве большевиков, архиепископ Иоанн много претерпел

там, а еще больше он видел ужасов и страданий русского народа от коммунистической власти и познал природу большевизма.

Все речи владыки в Сейме носили характер страстности, лишь только они касались марксистов (он всегда так именовал большевиков) и вольных или невольных их пособников. В речах Иоанна открывалась его kloкочущая бурным гневом душа, порой, казалось мне, далекая от иноческого смирения, но всегда правдивая и не терпящая компромиссов с безбожниками, кто бы они ни были.

Свои аргументы архиепископ подтверждал доказательствами, часто с гневом потрясая на кафедре убийственным для марксистов документом, чем вызывал на скамьях их бешеный шум и негодующие крики.

Я невольно восторгался доводами оратора и его замечательной способностью пользоваться тем или иным документом, уничтожающим доводы противников.

— Скажите, пожалуйста, владыка, вы не опасаетесь гнева большевиков, особенно тех, с Юрьевской улицы (советское полпредство)? — спрашивал я архиепископа в кулуарах Сейма.

— А что они сделают мне, ведь я правду говорю, пусть докажут, что я не прав. Ведь я только открываю кое-какие их тайны; помните в Евангелии от Матфея, сказано, что нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано, — улыбнулся владыка.

Служил владыка весьма торжественно и благолепно. Величавая осанка в архиерейском облачении, мощный голос с понижением при переходе к смиренной просьбе, наконец, произносимые трогательно и с большим чувством молитвы — все это производило на молящихся неотразимое впечатление и они проникались глубоким молитвенным настроением.

Часто в соборе архиепископ обличал атеистов, сеющих безбожие в стране. И эти проповеди, быстро дохо-

дившие до ушей его врагов, раздражали их. Недоброжелателей владыка имел немало, даже среди духовенства, так как он был довольно суров по отношению к тем, кто не исполнял своего пастырского долга.

Зато среди русского населения и в Риге и в провинции архиепископа не только любили, но многие его боготворили, в чем я убедился из разговоров с ходоками и членами делегаций, приходивших к владыке, как члену Сейма, с разного рода просьбами.

2. В сетях интриг и сплетен

Первую серьезную неудачу потерпел глава православной Церкви в борьбе за здание православного Алексеевского монастыря, которое в силу конкордата латвийского правительства с Ватиканом было передано епископу католической Церкви в Латвии. Дело в том, что католики по тому же соглашению получили, кроме того, лютеранскую церковь св. Якова, когда-то принадлежавшую им. Эта церковь находилась против Алексеевского монастыря, почти в центре города, рядом с Сеймом.

Дом монастыря против Яковлевской церкви был предоставлен католическому епископу, товарищу председателя парламента, бывшему профессору СПб, Императорской Католической Академии Иосифу Ранцану.

Архиепископ Иоанн незамедлительно повел борьбу за Алексеевский монастырь со свойственной его могучей натуре страстностью и горячностью, но вернуть монастыря не мог. Тогда он в знак протеста отказался жить в предоставленном православной Церкви доме и поселился в подвале православного собора, что находится на центральном месте латвийской столицы — на бульваре Свободы.

Подвал был довольно сырой и вообще неприспо-

соблен для жилья, тем более для резиденции главы православной Церкви.

Там, к великому неудовольствию латвийского правительства, архиепископ Иоанн принимал и знатных иностранцев. Летней же своей резиденцией он крайне неудачно избрал принадлежащую православному приходу двухэтажную дачу, которая находилась довольно далеко от города на пустынном берегу Киш-озера, за еврейским кладбищем. Там же владыка часто отдыхал и в зимнее время. Туда неоднократно приезжал и я побеседовать с владыкой по тем или иным вопросам, касающимся русского меньшинства в Латвии (ок. 200 тыс.)

Беседовать с иерархом было большое удовольствие: в нем сочетались русская культура и наблюдательность с латышскими трудоспособностью и упорством, порой переходящим в упрямство. Каждый раз при моем разговоре с ним он, как римский Катон, повторял, как, вероятно, и другим собеседникам, свое предупреждение:

«На свою беду сближается Европа с этими безбожниками».

В Риге архиепископ знал положительно всех, не только государственных людей, бывших его «однокашников» в царское время, но и обыкновенных простых горожан.

Между тем, его многочисленные враги, главным образом политические, энергично работали, сплетая вокруг него густую сеть интриг и распространяя по городу гнусную клевету, пятнающую его доброе имя не только как пастыря Церкви, но и человека.

Кто именно занимался этим мерзким делом — трудно сказать: Рига в то время кишела советскими шпионами, международными авантюристами и вообще искателями приключений, готовыми за доллар на любую подлость.

Сначала враги архиепископа пустили по городу, в

виде пробного шара, «слушок» о каких-то якобы «любовных утехах Кишозерского пустынноика» с одной неуравновешенной девушкой, посещающей его на даче. Затем пошли доносы относительно денежных недочетов в кассе православного собора.

Архиепископ Иоанн, получив такое «донесение», срочно назначил ревизию денежных сумм собора, которая подтвердила правильность доноса. Отсюда ясно было, что враги владыки имели сочувствующих в самом соборе.

Справедливый и требовательный в отношении себя, архиепископ был не менее суров и даже крут к своим подчиненным, особенно к провинившимся духовным лицам. Рассмотрев дело о нехватке сумм в кассе, владыка устранил ключаря собора, запретив ему совершение треб, а затем, когда недостающая сумма не была в известный срок покрыта, направил дело о растрате церковных денег в прокуратуру.

Ободренный успехом доноса, кто-то из «доброжелателей» прислал владыке полуофициальное донесение на вопиющие непорядки в кассе Петропавловского братства, где казначеем состоял известный своим прекрасным басом протодьякон.

Ревизия обнаружила недостачу внушительной суммы денег. И его архиепископ лишил сана и предал суду. Число врагов строгого архиепископа уже в самом кафедральном соборе увеличилось. Когда эти и другие, уже не подтвердившиеся, доносы не поколебали доверия и уважения прихожан к архипастырю, тогда тайные враги от сложных интриг перешли к помощи наемных воров и убийц.

*

За несколько недель до закрытия навсегда Сейма (переворот Карла Ульманиса 15 мая 1934 г.) член Сейма Янис Поммерн — он же архиепископ всей Латвии, вы-

ступал с кафедры Сейма, не помню точно, по какому поводу.

Владыка значительно похудел: на лице его появились крупные морщины, а в глазах заметно было какое-то беспокойство. По всему видно было, что эта кампания гнусной травли врагов подточила его здоровье.

Он произнес громовую речь против вожаков крайне левых партий, ведущих, по его словам, Латвию к гибели, разоблачал их в предательской работе на пользу большевиков и снова несколько раз потрясал папкой, указывая, что в ней находятся убийственные документы, изобличающие подлую работу латышских марксистов и их пособников, даже из правого лагеря.

«Настанет день, когда вот эти документы сделаются достоянием гласности и народ узнает виновников в его бедствиях, и он ужаснется и наполнится гневом»...

Разразился небывалый скандал: социал-демократы вскочили с мест, крича «вон, вон», а некоторые из них, потрясая кулаками, грозно бросились к оратору.

Спокойно стоял архиепископ на кафедре, ожидая, когда улягутся страсти на левых скамьях. Когда, наконец, председатель Сейма водворил порядок, оратор продолжал улыбаясь:

— «Этот шум, свист и улюлюкание напомнили мне случай, происшедший со мною очень давно в одной из деревень на юге России. Однажды ночью за мной, тогда еще молодым священником, заехал крестьянин, и повез меня к своей умирающей матери. При въезде нашем в одну из деревень, на нас напали с яростным лаем и визгом собаки с очевидным желанием наброситься на меня и разорвать на куски.

— Не бойся, батя, — сказал мне возница, — это они приветствуют тебя на своем собачьем языке».

Что говорил дальше оратор, разобрать нельзя было вследствие невероятного шума, в котором потонул даже звон председательского колокольчика.

Заседание пришлось закрыть. Эта речь была «лебединой песней» архиепископа в Сейме.

3. От клеветы — к действиям

Вскоре после этого инцидента политическая деятельность архиепископа Иоанна окончилась с закрытием Сейма «на время» Карлом Ульманисом, который 15 мая 1934 года принял на себя всю полноту власти. Но таинственные враги иерарха не прекратили своего преследования, наоборот, усилили его.

В тот же год, в августе месяце, в отделе хроники местных газет появилось сообщение о неудавшейся попытке воров проникнуть на дачу архиепископа в Киш-Озере «с целью кражи», — подслеповатый старик во время обнаружил воров, пытавшихся перебраться в сад через забор.

Встревоженные этим происшествием прихожане собора предложили любимому архипастырю охранять его по очереди, но архиепископ категорически отказался от охраны, указав на Бога, как лучшего защитника.

Но не прошло и трех недель после этого «покушения на кражу», как была совершена новая попытка злодеев проникнуть на дачу владыки: на этот раз громадного роста детина влез ночью в окно нижнего этажа дачи, но, соскакивая на пол, попал в крепкие объятия самого хозяина, после чего уже сам идти к двери не мог.

— Немного помял я его, наверно он чувствовал себя, как в лапах медведя, — говорил мне, смеясь, владыка во время моего визита на следующий день после этого события.

— Куда же вы отправили этого типа, в полицию?

— Зачем в полицию? Он достаточно наказан, обещал исправиться и второй раз не приходить ко мне...

— Почему же вы не приобретете себе револьвера, — ведь вас могут убить?

— Монаху револьвер?! Что вы говорите! На все Господня воля, — сказал, крестясь, владыка.

— И чего ищут у вас воры? — спросил я, стараясь вызвать у собеседника прямой ответ на интересующий меня вопрос.

— У бедного монаха воры хотят найти что-то другое, кроме денег и драгоценностей, ведь они прекрасно знают, что церковные деньги хранятся в более надежном месте, чем здесь на даче среди леса и на пустынном берегу Киш-Озера... Нет, так называемые «воры» — просвещенные люди и хотят у меня получить воровским способом то, чего они открыто, законным путем достать не могут.

— Так, понимаю. Уж не документы ли так тревожат ваших недоброжелателей? — спросил я осторожно.

— Да, пожалуй, вы правы: эти самые документы марксистам и их пособникам спать не дают, а бороться с этими безбожниками — наш общий долг...

На этом кончилась моя последняя беседа с главой православной Церкви в Латвии. Архиепископ встал, просил передать привет нашей редакции и с доброй улыбкой крепко пожал мне руку, которую я уже на дворе расправлял, думая:

— Ну, и богатырская же рука у этого современного Пересвета! Вполне понимаю плачевное положение вора, сжатого его могучими руками... Тут же я заметил, что никого на дворе не было: сам владыка открыл мне двери и сам закрыл их на замок. У сторожа в огороде копались, среди грядок, две старушки-монахини. Я поклонился им, но они даже не взглянули на меня — и я пошел к выходу мимо церковки св. Иоанна.

4. Загадочная смерть Собинова

— Не удивительно, что убийцы незаметно проникли на дачу архиепископа и убили его, — подумал я, стоя с экстренной телеграммой в руке.

— Ну, а теперь скорее к месту происшествия — на Киш-Озеро, — и я быстро вскочил в вагон трамвая номер 12.

В вагоне, где я занял место ближе к выходу, было полно. Все говорили только о страшном, небывалом для Риги убийстве архиепископа. — Но какую роль в этом деле играл артист Собинов? Ведь он был найден мертвым в отеле «Петроград» через несколько часов после убийства владыки... странное совпадение, — спросил по-русски популярный на Московском форштадте врач, типичный земец из чеховских персонажей, какого-то угрюмого господина с подстриженными усиками.

Тут только я вспомнил, что от волнения я не прочел, как следует, вторую часть телеграммы.

В самом деле, почему Леонид Собинов скончался в такой короткий промежуток времени после убийства владыки? — спросил я себя, вынимая из кармана помятый листок. Я углубился в чтение. Вот что, приблизительно, было напечатано:

«В ночь на 12 октября с. г. на даче православного архиепископа Иоанна Поммерна, что расположена на глухом берегу Киш-Озера, возник пожар. Вызванные пожарными чины уголовной полиции во втором этаже этой дачи нашли в сенях на верстаке, принесенном, видимо, преступниками из столярной мастерской православного иерарха, на снятой с петель двери обуглившийся труп архиепископа.

Труп почему-то был прикреплен проволокой к этой двери на верстаке. Борода сгорела. Ноги совершенно обуглились. Лицо было обезображено до неузнаваемости. На место трагического происшествия прибыли начальник уголовной полиции Тифентал, судебный следователь по особо важным делам и прокурор г. Карчевский. Энергичное следствие по делу загадочного, зверского убийства главы православной Церкви и бывшего члена Сейма Иоанна Поммерна продолжается».

Насколько помню, содержание второй телеграммы под крупным заглавием

**«ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ
ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ТЕНОРА СОБИНОВА»**
гласила: «Рига, 12-го октября. Сегодня днем в отеле «Петроград» внезапно скончался в номере отеля известный русский оперный артист Леонид Собинов. Вчера певец прибыл из Германии, где он лечился в Наугейме. Артист направлялся в Москву, у нас же он остановился для свидания с супругой, пребывающей в Риге. Врач констатировал внезапную смерть, вызванную разрывом сердца. Похороны знаменитого артиста состоятся в Москве, куда тело артиста будет отправлено».

Собинов, Леонид Витальевич! — знаменитый лирический тенор! Его хорошо знала не только вся Россия, но он был известен и далеко за ее пределами. Билеты на оперные спектакли с его участием брались с бою. Его выступления в дореволюционное время считались крупным художественным событием в том городе, куда он приезжал. Красивая наружность, прекрасный голос, приятные манеры и высокая культурность — до своей артистической карьеры он был присяжным поверенным — окончательно покоряли всех, кто только слышал или видел его. Количество поклонниц и поклонников Собинова соперничало с количеством «шляпинцев», главным образом, вследствие обаятельности вечно юного Собинова. Рижанам было известно, что знаменитый тенор ежегодно, проездом в Германию для лечения, останавливался в нашем городе, где жила его жена. Тут же он неизменно поздно вечером или рано утром посещал архиепископа Иоанна. По словам владыки, Леонид Собинов остался глубоко верующим христианином, исполнял свой христианский долг и много молился...

5. В поисках тайны убийства

Мои воспоминания о Собинове были прерваны кондуктором, который спросил:

— Вам, господин, куда билет, наверно, к месту убийства русского бискупа — к Киш-Озеру?

— Правильно, а что?

— Да спешите-то напрасно: вся полустгоревшая дача бискупа оцеплена полицией — там сам прокурор и префект полиции. Доступ на дачу воспрещен даже корреспондентам газет, — сказал кондуктор, вручая мне билет.

— Ну, префект-то меня знает: пропустит...

— Не думаю, — даже редактора газет возвращались ни с чем... Ну и разбойники пошли нынче, а ведь часто выдавал я бискупу билеты на проезд, вот как вам, частенько ходил он метровыми шагами в свой глухой, медвежий угол.

Доехали до конца. Я быстро сошел и направился по знакомому пути мимо мрачного еврейского кладбища, а оттуда по пустырю к озеру через редкий лесок. Недалеко от берега стоял полицейский, который убеждал тех, кто шел на дачу архиепископа, итти обратно.

— Позвольте, я корреспондент, — сказал я полицейскому, показывая ему свою профессиональную карточку.

Не помогло:

— Приказано никого не подпускать к месту убийства.

Делать нечего — пришлось отправиться домой, ждать дальнейших официальных сообщений и вместе с тем продолжать свои частные розыски.

На обратном пути, уже в городе, я встретил нашего сотрудника Цветкова, дававшего в газеты новости о происшествиях в столице. Он уже успел рано на рассвете побеседовать почти со всеми прикосновенными к расследованию убийства лицами. Он даже сумел, не

смотря на запрещение, издали взглянуть на лежащий на верстаке труп мученика-архиепископа. Не даром Цветкова называли королем латвийских репортеров

— Ближе не подпустили, но все же я хоть на мгновение взглянул на тело архиепископа и содрогнулся жуткий вид. Не дай Бог видеть. Но в гостиницу, где лежало тело Собинова, не впустили: там распоряжался какой-то тип из полпредства...

— Все это дело не только кошмарное, но и весьма загадочное, я сказал бы крайне таинственное, — почти шепотом прибавил Цветков.

— Впрочем, я проголодался: зайдемте к «Робежнеку», там я кое-что расскажу, все равно напечатать нельзя, — сказал он, открывая дверь в излюбленный рижскими журналистами ресторан на Мельничной улице.

Несмотря на сравнительно раннее время, в ресторане было уже много посетителей, главным образом журналистов.

Не трудно было догадаться, что головы всех были заняты одной мыслью о Кишозерском кровавом событии, но точного и ясного ответа не находили.

Одни основывались на свидетельских показаниях, достоверность которых некоторыми журналистами оспаривалась, другие — на верных слухах — последние в населении ежечасно множились, — но большинство сходилось на том, что, судя по обстановке этого страшного преступления, убийцами были большевики и их пособники; среди последних называли политических врагов преосвященного Иоанна, которых он немилосердно разоблачал в Сейме.

Другие журналисты находили, что в устранении его были заинтересованы лица, прикосновенные к тратам церковных сумм, отданные архиереем под суд Третьи уличали в невольном пособничестве внезапно скончавшегося в отеле «Петроград» артиста Собинова «убийцы» — говорили они — знали, что набожный ар

тист поздно вечером посещал владыку. В роковой вечер чекисты проследили артиста и, когда он находился на крыльце кишозерской дачи в ожидании появления владыки, — последний лично открывал дверь, — злодеи, как только появился хозяин, выскочили из засады, оттолкнули Собинова в сторону и ворвались в дом, где и совершили свое гнусное дело». Некоторые к этой версии добавляли, что часть злодеев прибыла к даче озером на моторной лодке, а другая часть будто бы привезла к даче на автомобиле артиста — эта версия была сразу же отброшена, как неимеющая солидных свидетелей. Наконец, третьи подтверждали официальное сообщение о том, что Собинов скончался от разрыва сердца в отеле, откуда он по приезде из Германии не выходил. Умер же он внезапно, узнав о страшной смерти любимого им архипастыря.

Хотя достоверность этой версии ослаблялась отказом полпредства судебным властям в просьбе вскрыть тело умершего артиста, она казалась наиболее вероятной.

«Ворвавшись в дом, преступники прежде всего набросились на владыку и после отчаянной борьбы связали свою жертву, переправив ее наверх. Одновременно другие злодеи перерезали все провода и действовали спокойно до рассвета.

Затем они замучили архиерея и подожгли дачу, чтобы замести следы этого злодеяния. И если бы сосед, живущий недалеко от места преступления, случайно заметивший пожар, не сообщил в пожарную команду о пожаре, мы все даже не подозревали бы об ужасном преступлении на архиерейской даче», — закончил Цветков свой рассказ журналистам.

Все были потрясены дьявольским планом преступников. Старый и опытный журналист, редактор близкой к правительству газеты, призывал к сугубой осто-

рожности при даче материала в газеты, так как в данном случае заинтересован «наш великий восточный сосед» и он может причинить нашему правительству большие неприятности. «Вероятно, не сегодня-завтра наши власти выявят свое отношение к информации по этому крайне загадочному делу», — сказал он, прощаясь с нами.

Покинули мы ресторан в подавленном настроении.

Цветков и я, не сговариваясь, повернули к набережной Двины. Погода была чудесная. С реки тянул приятный ветерок. Мы прошли по Замковой площади мимо Петроградской гостиницы в надежде что-нибудь увидеть или узнать о причинах смерти Собинова, потому что мы весьма сомневались в официальной версии кончины выдающегося артиста. Таких, как мы, якобы прогуливающихся, оказалось довольно много, но и полиции, тайной и явной, было не мало.

Все попытки Цветкова, лично знакомого с чинами угрозыска, получить новости, не дали результата. Мы видели несколько чинов из полпредства, которые с озабоченными лицами свободно входили в отель. Видели также, как доставили из похоронного бюро гроб для Собинова, но больше ничего не узнали. Делать нечего: простились друг с другом и пошли по домам.

Утром на следующий день все редакции Латвии получили из Министерства внутренних дел предложение по делу об убийстве архиепископа Иоанна Поммерна печатать лишь официальные данные, исходящие от прокуратуры.

Сообщения же эти были, приблизительно, следующего содержания:

«Следствие по делу об убийстве архиепископа Иоанна энергично продолжается под руководством прокурора. Пока, однако, на следы преступников напасть не удалось».



Через день или два состоялся, по требованию полпреда, перевоз тела Собинова в здание советского полпредства, а оттуда на вокзал для отправки его в Москву. Несмотря на то, что предварительного сообщения об этом в газетах не было опубликовано, а наоборот, в полпредстве день и час перевоза останков певца хранили в строгом секрете, — все улицы, по которым двигалась траурная процессия, были запружены народом.

Пошел и я отдать последний долг большому артисту.

И когда траурная колесница с гробом, покрытым цветами, двигалась мимо меня, мне думалось, что смерть владыки оборвала жизнь того, тело которого так поспешно везут в Москву.

Позади колесницы шли вдова, родственники, знакомые и несколько чинов полпредства...

Как только из отеля «Петроград» вывезли тело Собинова и сняли дежурный наряд полиции, туда хлынули корреспонденты газет. И вскоре «из уст в уста» передавали не для печати слух, что полпредство, от имени которого распоряжался какой-то «рыжий товарищ», воспротивилось требованию полицейского врача произвести вскрытие тела для установления причин смерти Собинова: «дело, мол, ясно — разрыв сердца, таково заключение советского врача». И вскрытие трупа не произошло! Этот отказ в законном требовании полицейского врача еще более усилил в народе слухи «об отравлении» Собинова большевиками. Кроме того, стало известно, что накануне убийства иерарха Собинов имел целый ряд телефонных разговоров с полпредством, что было установлено судебным следователем из телефонной записи отельной администрации.

Через некоторое время после отправки тела Собинова в Москву, в газетах появилось официальное сообщение об отставке начальника уголовной полиции

Тифенталя и о назначении на его место другого (Целенса).

Наконец, через месяц появилось новое правительственное сообщение о временном прекращении следствия по делу об убийстве архиепископа Иоанна за обнаружением преступников.

Это официальное сообщение было вместе с тем и финалом этого жуткого дела.

6. Подробности мученической смерти архиепископа

Взволнованное ужасным убийством владыки, русское население было не менее возмущено распоряжением о прекращении судебного следствия. В народе распространялись слухи о жутких подробностях пыток главы православной Церкви. И эти подробности, уточняющие сухое и краткое официальное сообщение об убийстве владыки, большей частью подтвердились: ведь они, в сущности, исходили от тех или иных участников расследования и первых свидетелей — пожарных. Один из агентов розыска подтвердил мне большую часть этих слухов.

И прав был покойный владыка, сославшись в разговоре со мною относительно происков его недругов на слова Евангелия:

«Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано» (Матфей, X. 26).

Убийц было, как предполагают, не менее четырех. Обстановка места кровавой драмы, осмотр трупа и данные, полученные после вскрытия тела архиепископа дали приблизительно точную картину мученической смерти архипастыря.

Сразу же внизу, на крыльце, когда владыка открыл входную дверь, спрятавшиеся у крыльца бандиты ворвались в переднюю и набросились на хозяина.

Борьба, судя по пятнам крови, разбрызганной по

полу и стенам передней, была упорная и страшная с обеих сторон.

Внизу же, в одной из комнат, жертва, видимо, была связана и доставлена в кабинет, где происходили поиски каких-то документов, так как половицы в некоторых местах были сорваны. Всюду на полу валялись в беспорядке разные бумаги, записки, счета, вырезки из газет.

На некоторых верхних бумагах виднелись капли крови: видимо, и здесь истязали архиепископа.

Затем несчастная жертва была доставлена по внутренней лестнице наверх, где в глухом, широком коридоре между столярной мастерской (владыка столярничал) и другими комнатами, видимо, и происходила пытка.

Там, на верстаке, принесенном из столярной, прибывшие в два часа ночи пожарные обнаружили обгоревший труп мученика, привязанного проволокой к снятой с петель двери. Проволокой же на всякий случай была палачами заделана с наружной стороны выходящая на лестницу дверь.

Какие страшные пытки претерпел архиепископ, видно из следующих данных осмотра трупа: обуглившиеся ноги от первой струи воды пущенной на верстак, отвалились, в то время, как на спине даже не сгорела кожа, а на затылке жертвы остались волосы, хотя борода сгорела.

Это доказывает, что палачи пытали огнем несчастного, вероятно, калильной лампой. В правом паху покойного, как гласит протокол осмотра трупа и вскрытия, было обнаружено пулевое отверстие с выходом пули к позвоночнику, где она и застряла.

Выстрел в архиепископа был произведен, как полагают, после пыток, когда жертва палачей лежала привязанной к верстаку.

Кроме того, в легких умученного владыки были обнаружены дым и угольки — это значит, по заключе-

нию врача, что архиепископ еще дышал, когда начался пожар.

Нашли ли убийцы у умученного и убиенного владыки то, что искали, — неизвестно: вероятнее всего, архипастырь унес свою тайну в могилу.

Через несколько дней, в воскресенье, в Риге состоялись торжественные похороны главы православной Церкви в Латвии.

Был хороший и тихий осенний день. В кафедральный собор пропускали только по билетам. После панихиды гроб владыки вынесло из храма на улицу многочисленное духовенство при печальном песнопении и похоронном звоне соборных колоколов.

Весь бульвар Свободы и широкая улица были запружены народом. Все конное и трамвайное движение было прекращено.

Среди коленопреклоненных прихожан слышался плач. Последний долг покойному архипастырю пришла отдать, можно сказать, вся Рига. Много делегаций было не только из провинции, но и соседних государств.

Перед воротами на Покровское кладбище получился продолжительный затор; все желающие не могли попасть на кладбище.

Позже, над могилой архиепископа Иоанна была воздвигнута красивая в византийском стиле часовня с мозаичной иконой св. Иоанна, как память от паствы о мученике-архипастыре Иоанне, борце за христианство, который, как добрый пастырь, положил мученически душу свою за овец своих.

7. Заключение

Мучительные вопросы, — кто же убийцы и почему при всех переменах режима в Латвии никто из правителей не идет навстречу общественному требованию возобновить по этому страшному делу так неожиданно прерванное следствие или, по крайней мере, опублико-

вать материалы последнего, — терзали умы многих верующих.

Не прекратились эти вопросы и во время занятия Риги большевиками. Были даже такие наивные люди, почитатели убиенного иерарха, которые намеревались перед советскими властями возбудить вопрос о возобновлении этого дела, но юристы разъяснили им во-время неуместность и даже опасные последствия подобной попытки при известном всем отрицательном отношении большевиков к духовенству и к религии (тогда весьма осторожно выражались).

В 1941 году в конце июня немцы в свою очередь заняли Ригу. Они, между прочим, назначили комиссию для восстановления судебных учреждений, разгромленных большевиками, во главе которой поставили рижского присяжного поверенного Б. Е. фон Нольтейна. К нему обратились некоторые русские юристы с тем же вопросом относительно убийства архиепископа Иоанна.

Этот вопрос особенно волновал их в связи с распространившейся по городу версией, исходящей от бывших правительственных латвийских кругов, что дело об убийстве архиепископа Иоанна было в свое время направлено на прекращение по двум причинам: первая — из-за необнаружения виновников преступления и вторая — из-за нежелания властей вызвать в сердцах верующих смятение, так как при судебном разбирательстве были бы оглашены неподобающие для духовных лиц поступки некоторых представителей духовенства, интриги и пр.

Едва ли с последней версией можно согласиться, так как большевики в таком случае, наоборот, не преминули бы воспользоваться этим следственным материалом для шумной антирелигиозной пропаганды, даже в мировом масштабе.

Со дня этого страшного преступления прошло много лет, но оно все еще не вполне раскрыто, как не раскрыты сотни тысяч подобных жутких дел о погибших,

умученных или таинственно исчезнувших жертвах Чека — ГПУ — НКВД или как они еще будут именоваться.

Все же я верю, что настанет время, — и оно не за горами, — когда все «сокровенное и тайное будет явным».

ИЗУМЛЕНИЕ

(Светлой памяти Ивана Сергеевича Шмелева)

Весной 1950 года, на нашем семейном совете в Берне, мы решили исполнить наше обещание, данное обещавшему у нас Ивану Сергеевичу, посетить его в Париже.

Хороша весна в Париже, особенно утром, когда еще весь Париж не «на ногах», весенний воздух чист и полной грудью вбираешь в себя свежий запах садов и парков. Счастливые, но с некоторым духовным трепетом оказались мы — жена, дочь, восьмилетняя внучка Верочка и я — на площадке лестницы перед дверью квартиры писателя в Пасси. Позвонили.

«Мне страшно... — полупшепотом говорит девочка, — а вдруг он опишет меня!..» Разубедить ее я не успел, так как дверь открылась и у порога стоял худенький, небольшого роста человек с реденькой бородкой и в серой вязанке. По живым добрым глазам, которые, казалось, только и жили в его исхудалом теле, я с трудом узнал Ивана Сергеевича.

— Иван Сергеевич, здравствуйте!..

— Ах, дорогие, драгоценные, добро пожаловать... Как я рад вас видеть...

Когда мы вошли в переднюю, он вдруг оборвал свое приветствие и, показав движением руки на диван в первой комнате, смущенно отвернулся со словами:

— Одну минуточку — и поспешно ушел во вторую комнату — видимо, переодеться.

Мы сели на диван, перед которым стоял большой четырехугольный столовый стол, на нем находились

посуда, банки и пакеты. На стене висела картина (олеография) с изображением древнего Московского Кремля, а на противоположной стене — репродукция картины из русской жизни.

— Здесь русский дух, здесь Русью пахнет, — сказал я своим, рассматривая картины.

Удовлетворив свое любопытство в первой комнате, я направил свои взоры во вторую комнату (осмотр достопримечательностей в Париже сделался привычкой). Там, почти посредине, я заметил большой канцелярский стол, заваленный рукописями и книгами. На стене на лево — много портретов, между ними выделялся большой — портрет в раме молодого человека в форме российской императорской армии. Через раму перетянута узкая траурная лента. Не погибший ли на войне сын писателя? — шевельнулся у меня в голове вопрос, но спросить постеснялся. Правее от портрета в почетном углу висела икона Божьей Матери старинного письма, а перед Ней — лампада с горящим светильником. По сторонам этого образа висели иконки меньшего размера Казанской Божьей Матери, Владимирской и другие. Вообще было видно, что Богоматерь у писателя в великом почитании; немного в стороне виднелась и Мадонна.

Появление хозяина в темносером костюме прервало мои наблюдения. Мы еще раз пожали друг другу руки, а Верочку писатель крепко поцеловал. Мы передали Ивану Сергеевичу пламенные приветы моих сыновей и бернских почитателей его.

Тронутый писатель искренне благодарил нас и за наш визит. «Очень меня согрели вы... скорблю и извиняюсь, что не могу угостить вас чайком. Сегодня воскресенье, нет ухаживающей за мной дамы, простите за беспорядок...» — смущенно говорил он. После этих слов он сел против нас и стал рассказывать о своей болезни. Всматриваясь в его вдохновенное лицо, бледное, с редкой бородкой, которой раньше не было, я подумал, как это лицо похоже на лик митрополита Фи-

липпа в изображении художника Новоскольцева. Только глаза Ивана Сергеевича блестели одухотворенным огнем, как бы подогревая все немощное тело его.

Когда он вставал и подходил к столу, то я опасался, как бы наш писатель не упал — так неуверенно он шел. — Не себя ли он описывал в рассказе «Празднование», рисуя архиерея словами: «Слабенький он был, сухонький, комарик словно...» — подумал я.

— Болен я, милые мои, главное нет аппетита, — начал он. Даровал бы мне Господь прожить еще два годика... только бы не впустую, чтобы я мог закончить задуманную работу... После «изумления», случившегося со мной так чудесно за тяжкие, критические дни болезни, когда, как я узнал после, весь медицинский персонал клиники, где я лежал, сомневался в моем «воскресении из мертвых». Но операция под местным наркозом была сделана вполне удачно, и я стал выздоравливать. Теперь только временами иногда думаю о причине моего чудесного выздоровления и нашел ее. А видел я вещий сон. Надо вам сказать, что всегда перед каким-нибудь важным для меня событием я вижу вещие сны... А незадолго до операции снилось мне будто я на вокзале и говорю со своими любимыми — покойными женой и сыном. Говорили мы о прекрасной поездке далеко, далеко вдаль, на родину. Говорим и плачем, но на душе у меня радость, умиление. Я побежал в кассу взять билеты, но когда, получив билеты, я вернулся к своим их не оказалось на том месте, где я оставил их. И мне вдруг стало весело: раз я не уехал со своими, значит, Господь решил еще жить мне... и я уверовал в благополучный исход операции. (Шмелев скончался после операции, если не ошибаюсь, через три-четыре месяца.)

— Да, удивительно, — согласился я, и взглянув на окно, спросил: — Скажите, Иван Сергеевич, вот против вашего дома я вижу развалины, не от бомбардировки ли здание разрушено... не пострадали ли вы?

— Правильно изволили сказать — от бомбардировки, — оживился писатель.

— А спасся я только чудом... Там было убито восемь человек, двадцать тяжело раненных, я же, благодаря заступничеству Богородицы, остался невредимым!.. Произошло это третьего сентября 1943-го года... Воистину чудо, достойное изумления. Правильно сказано: «Ты еси Бог, творяй чудеса!»

Дамы попросили хозяина рассказать про это чудо.

— Случилось чудо так: лежу я в это утро, вон там, в задней комнатке на расстоянии одного метра от капитальной стены. Вдруг во сне слышу страшный грохот и звон от разбитых стекол... И вижу я, что вокруг моей ноги обвилась громадная змея и страшно жалит... Я схватил гадину и с омерзением швырнул ее в мусорную яму. Это, конечно, был сон, но боль в правой ноге продолжалась... Странно. Опять раздался грохот. Дребезжание стекол. Меня вдруг подбросило, и я вскочил с кровати. Смотрю сквозь полутьму и вижу... Пахнет гарью и чадом... Что за чудеса? Уж не бомбардируют ли нас с воздуха? — догадываюсь я. Но я даже не ранен, только змея ужалила. Я взглянул на правую ногу и вижу несколько осколков стекла, которые, как догадался я, брошенные сильной волной воздуха, вонзились сквозь ватное одеяло в тело... Так вот какая змея ужалила меня.

Но дальше еще чудеснее, слушайте только: когда стало светать, я нашел в куче разбитых стекол листок от отрывного календаря (изд. инвалидов) от третьего сентября 1943 года, на обороте которого был напечатан отрывок из моего рассказа: «Царица Небесная»... Вот этот листок, — и рассказчик поднялся с места, подошел к столу, быстро нашел там календарный листок и прочел нам следующее:

«К Тебе прибегаем... яко к Нерушимой Стене... и предстательству. Она — Царица Небесная. Она — над всеми...» — кончил проникновенным голосом писатель.

Потом вот что случилось: моя уборщица нашла в этой куче гравюру, изображающую Богоматерь-Мадонну, работы итальянского мастера. Откуда она? Стал я доискиваться. Ведь у меня ее не было. Наконец выяснили, что гравюра влетела в мою комнату тогда же во время бомбардировки из противоположного дома, силой взрыва, сквозь скважину жалюзи, спущенную мною накануне взрыва...

Иван Сергеевич встал и снял со стены небольшой величины гравюру и принес ее нам со словами: «Вот эта Мадонна, она нашла приют в той комнате, где я возношу молитвы к моей Заступнице, Царице Небесной... я берегу также и Мадонну. Так вот, мои дорогие, какие бывают чудеса — изумление!» — закончил свой рассказ Иван Сергеевич. Мы долго рассматривали гравюру и удивлялись истории ее появления в комнате писателя.

Поговорили еще. Время быстро летело, да и писатель заметно уставал. Мы поднялись и стали прощаться. Иван Сергеевич взял со стола большой английского изделия пряник, вроде русских вяземских, сунул в руку Верочки и трижды поцеловал ее. Мы тепло простились. Уходили мы с грустной мыслью: увидим ли когда-нибудь его? Иван Сергеевич показался мне одиноким, наполовину живущим за пределами нашей грешной земли, с которой он все же крепко связан, особенно с далекой Родиной-Россией.

МОЯ ГАЗЕТНАЯ «ЭПОПЕЯ»

Первый блин комом

Уже в старое время Рига считалась одним из главных центров российской внешней торговли. Постепенно этот город, живописно расположенный у устья Западной Двины, сделался как бы мостом между западными государствами и Российской Империей.

В Риге проживал я раньше, когда там в первую мировую войну стоял штаб 12-й армии, но недолго: революционный шквал, ворвавшийся в ряды наших войск, выбросил меня из этого красивого города и швырял меня по разным городам необъятной России. Я очень обрадовался, когда в начале 1921 года я снова оказался в Риге, которая сделалась столицей независимой Латвийской республики. Первым главой правительства был Карл Ульманис (агроном).

Город показался мне мало потрепанным войной: в глаза не бросались полуразрушенные здания, казалось, все было на месте, но внешний облик улиц был иной. Прежде всего, вместо русских городских важно стояли на своих постах латышские полицейские в форме близкой к французской, военные же щеголяли в форме английского образца.

На улицах жизнь была ключом. Всюду слышалась латышская речь, часто, однако, говорили и по-русски. Над входом в государственные учреждения развевались национальные флаги (цвета: красный-белый-красный). Все это было для меня новым. По-новому пришлось устраиваться и мне: «Надоело скитаться по белому свету», — думал я.

Прежде всего я принялся за поиски работы в области новой профессии — журналистики, которой в российской столице я занимался как дилетант — с судебской карьерой пришлось распрощаться навсегда вследствие незнания латышского языка. В Риге в это время выходила лишь одна русская газета «Сегодня», редактором которой был талантливый публицист Н. Г. Бережанский (Козырев). По его предложению я писал корреспонденции из Эстонии, а в Риге я давал живой материал из бесед с политическими деятелями Латвии. Конечно, заработок был жалкий и не служил солидным базисом для жизни семейного человека, поэтому мне оставалось терпеливо ждать выхода в свет новой газеты; таковая, к моей преждевременной радости, вскоре и появилась.

Это произошло весной 1921 года. Одна сотрудница газеты предложила мне связаться по телефону с издателем-редактором «большой русской газеты «Новый путь» неким Гродзенским: он-де ищет опытных сотрудников и, конечно, охотно предложит работать у него.

Кто такой Гродзенский — она не знала. Не знал и я, но все же я отправился к нему «нащупать почву».

В большой комнате, заваленной разными газетами, пахло типографской краской, а из соседнего помещения слышался стук ротационной машины. За письменным столом сидел гладко выбритый господин лет 50-ти в черном пиджаке. При моем появлении, он отложил в сторону пачку гранок, поднялся и быстро произнес: «Редактор-издатель Гродзенский, — чем могу служить?» Узнав о цели моего визита, он, с суетливой вежливостью, подвинул стул и предложил сесть, щупая беспокойным взглядом мою наружность. Затем вкратце выразил удовольствие по поводу моего желания сотрудничать «в солидном органе печати».

На мой вопрос, какого направления будет «Новый путь», издатель слегка замялся, но быстро поправив спустившееся к концу носа пенсне в золотой оправе, с

наигранной твердостью в голосе ответил: «Наша газета будет чисто демократическая... Да-с. Вам я предложил бы писать статьи по общественным вопросам и помогать мне в правке материала, передовых статей нам не надо — их будет писать наш главный редактор, известное в газетном мире лицо...».

На мой вопрос, кто же это лицо, Грозденский, понизив голос, ответил: «По просьбе главного редактора назвать его фамилию посторонним лицам — вы ведь до подписания контракта все же посторонний — я не могу, не обижайтесь на меня, но я дал честное слово издателя... да-с...».

Отказ назвать имя главного редактора, тем более «известного» в газетном мире лица — мне показался весьма странным и я сразу насторожился, поэтому я предложил свои услуги только на два дня за минимальную поденную плату. Когда же познакомимся друг с другом — подпишем контракт.

Это предложение, видимо, ему не очень понравилось, но он в конце концов согласился и попросил притти через три часа на работу.

Я ушел довольный, так как надеялся, самое позднее через день, узнать направление газеты.

В тот же день явился я в условленное время в редакцию, где кроме Гродзенского застал господина с русской бородкой, типичного русского интеллигента. Редактор познакомил меня с ним — это бывший сотрудник закрытого большевиками «Русского слова» в Москве Львов. Он так же, как я, искал работы.

Но кто такой Гродзенский и какого направления «Новый путь» — он также не знал. «Я здесь человек чужой», — сказал он мне.

— Я в таком же положении, но не сегодня-завтра все будет ясно, — утешил я его.

Получив от редактора материал, преимущественно хроникерского содержания, я сел к столу, у которо-

го сидел Львов, и принялся за хорошо известную мне работу.

По стилю пера я убедился, что автором его был молодой репортер Цветков, считавший себя писателем, что и старался доказать сочиняя заглавия происшествий, которые должны быть краткими. Так, одна из его заметок о поимке трех взломщиков имела лирическое заглавие «Три мушкетера»; вторую заметку об исчезновении какого-то афериста Цветков озаглавил поэтическим вопросом: «Куда, куда вы удалились»?; наконец третье происшествие, носившее назидательный заголовок «Попались, что кусались», оказалось для меня весьма интересным: там сообщалось об аресте пяти коммунистов, которых полиция застигла врасплох во время тайного совещания в какой-то трущобе на окраине Московского форштадта; было обнаружено много пропагандного материала против латвийского правительства и несколько револьверов. Зачеркнув заглавие Цветкова, я написал: «Арест банды коммунистов». Со словами: Прочтите, вот теперь мы узнаем политическое направление «Нового пути» — я передал листок Львову. Тот прочел и улыбнулся. В комнату вернулся с кипой гранок Гродзенский. Я положил ему на стол исправленный мною материал. Не прошло и десяти минут, как редактор в волнении стал поправлять пенсне на носу и, указывая пальцем на лежащий перед ним листок, спросил:

— Скажите, не знаете ли откуда Цветков получил сообщение об аресте коммунистов?

— Конечно, от политической полиции... Материал, господин Гродзенский, достоверный... Цветкова я знаю...

— Да? Вы думаете политическая полиция не может ошибаться?

— В данном случае она не ошиблась, не беспокойтесь, — ответил я.

Гродзенский схватил весь материал и выбежал из комнаты. Впоследствии редакционный мальчик пока-

зывал на дознании, что редактор весь материал читал кому-то по телефону, видимо, в полпредство.

Через полчаса Гродзенский вернулся к нам и мрачно сообщил мне, что хронику Цветкова он сдал в набор, кое-что задержано им.

— Необходимо проверить, так как...

Он не успел кончить фразы, как дверь открылась без предварительного стука и в комнату вошел военный в сопровождении двух штатских.

— Кто тут редактор-издатель коммунистической газеты? — спросил по-русски военный.

Львов указал на побледневшего Гродзенского.

— Вы арестованы... Вот ордер... Извольте следовать за нами... — Диалог продолжался уже за дверью, в коридоре.

— Попался, что кусался! — припомнил я заглавие репортера Цветкова.

— Ну, теперь ясно направление «Нового пути», — прибавил, вставая, Львов: — нам здесь делать нечего.

На следующий день мы прочли в газетах распоряжение министерства внутренних дел о закрытии газеты «Новый путь». Прав был мудрый Кузьма Прутков, изрекая: «Бди!». Так с работой в рижской газете получился у меня первый блин комом. Пришлось опять ждать.

В «РИЖСКОМ КУРЬЕРЕ»

Ждал я несколько месяцев. В конце октября 1921 года я получил от журналиста Доната Заборовского приглашение пожаловать в кафе Рейтера для переговоров об участии моем в его газете, которая в скором времени выйдет в свет. Пошел. Заборовский представился как редактор-издатель газеты «Рижский Курьер». Сказал, что меня знает по моим корреспонденциям и много смеялся, читая мой фельетон в газете «Сегодня» о злополучном «Новом пути». Он предложил работать на правах члена редакции в его газете, причем заверил меня, что направление ее будет либеральное, не противоречащее интересам национальной России.

После некоторых принятых им моих поправок относительно редакционной работы и пунктов материального характера мы подписали письменное соглашение и в ноябре 1921 года я сидел за редакционным столом на Большой Грешной улице.

Донат Осипович Заборовский, гладко выбритый человек, небольшого роста, лет под 60, был больше педагогом, чем журналистом. По его словам, он был несколько лет профессором русского языка в Римской Военной Академии.. Его профессорство подтверждалось строгим требованием чистоты русского языка. Его правка материала отличалась точным знанием мельчайших правил грамматики, причем он даже письменно объяснял, в чем ошибка, поэтому неудивительно, что и газета наша отличалась малым количеством «досадных опечаток» и наибольшим уважением к «чистоте русского языка», как выражался известный критик Петр Пильский. Заборовский сумел найти для газеты изумитель-

ную корректоршу, жену писателя Кормчаго, Любовь Константиновну.

Постепенно организовался и редакционный состав газеты.

На редакционных совещаниях постоянно участвовала сестра Заборовского Божена Иосифовна, бывший театральный критик петербургского журнала «Театр и Искусство» Кугеля. Псевдоним ее — Бинокль. Литературным отделом ведал Кормчий, известный в Петербурге автор приключенческих романов. Фельетонистом был Михаил Миронов, впоследствии он работал в Берлине под псевдонимом, кажется, Цвик.

Близкое участие в газете принимал мой бывший профессор Петербургского Университета Грибовский, занявший кафедру государственного права в Латвийском университете. Он постоянно носил в кармане учебник латышского языка, которого так и не изучил, скончавшись до экзамена. Его лекции и статьи по государственному праву читались с большим интересом теми, кто принимал участие в строительстве молодой Латвии.

Кормчий был большой оригинал. Он владел неисчерпаемой фантазией, смотрел на жизнь «сверху вниз». Его можно причислить к типу прежней петербургской писательской богемы, равнодушной к благам жизни, как например, Александр Рославлев или Дмитрий Цензор, давно, увы, забытые даже литературоведами, а ведь имена их мелькали в больших «ведущих» журналах. Они жили то в роскошных квартирах и появлялись в дорогих ресторанах, то спускались до такой грани жизни, когда гордо произносили: «omnia mea tecum porto» — «все мое ношу с собою», но всегда сохраняли возвышенную и гордую душу.

Несмотря на то, что Кормчий был семейным человеком (у него была хрупкая, но полная энергии супруга и милая дочь), он любил один шататься по городу «в поисках живых впечатлений». И, действительно, он черпал эти впечатления то на базарах, то в трактирах,

беседуя до поздней ночи с интересными для него типами за бутылкой доброго вина и наблюдая их. Все же в редакцию он всегда приходил пунктуально и лихорадочно работал над полученным материалом.

С расходами он не считался, вследствие чего семья его испытывала иногда неприятные минуты. Так, в один рождественский сочельник Кормчий из редакции пошел на поиски впечатлений. Дома, где ничего к праздникам не было закуплено, ждут его с нетерпением. Уже стемнело. Магазины закрываются... И только в десять часов вечера звонок у входной двери. Супруга Кормчаго открывает. Вместе с холодным воздухом с лестницы подул в квартиру приятным запахом весенней сирени, которую в горшке держал посыльный.

— С праздником от любящего мужа — сказал он, — из Ниццы-с...

— Не поверите, — рассказывала она потом в редакции, я даже заплакала от досады! Мы хотим поесть, а вместо еды дорогая сирень... Правда, красивая поэзия, но от нее сыт не будешь!

Писал Кормчий на бытовые темы. Писал он хлестко, и в защиту обиженного ввернуть сгоряча неприятное для обидчика словцо не стеснялся, вследствие чего редактору приходилось объясняться с жалобщиками, а то и платить штрафы... Всяко бывало!

Хороший фельетонист был у нас Тьедер, бывший морской офицер, лет сорока. Он работал в министерстве, как ученый специалист по рыбному хозяйству. Этот моряк отличался необыкновенной любовью к греческой мифологии, которую великолепно знал: он приводил на память целые страницы из Одиссеи или Илиады в переводе Жуковского или Гнедича.

Его фельетоны, полные сатиры и юмора, о греческих богах, в которых легко можно было узнать «больших и малых богов политического или общественного рижского Олимпа», пользовались у читателей большим успехом.

РУССКИЕ В ЛАТВИИ

Благодаря работе в редакции газеты, я в короткое время оказался в курсе политических и общественных дел русских в Латвии.

В первые годы строительства республики, дела ее шли недурно: министр-президент Карл Ульманис опирался на трудолюбивое крестьянство и правил весьма осторожно. Надеясь на поддержку западных союзников, он все же с опаской оглядывался на могучий Восток, откуда от коммунистических заправил ничего хорошего для Латвии не ожидал. Большевики играли с независимыми прибалтийскими республиками, как кошка с мышкой.

В законодательном учреждении, Сейме, из ста депутатов было шесть русских. Среди них самой яркой личностью был архиепископ Иоанн (Поммерн). Эти депутаты делились на три фракции — часто враждебные друг к другу, но дружно охранявшие обеспеченную латвийской конституцией культурную автономию национальных меньшинств.

Русских в Латвии насчитывалось более 200 тысяч, из них в Риге проживало не менее 30 тысяч человек. В столице Латвии русские имели 13 городских основных школ, две гимназии (государственную и городскую), одну школу для взрослых с коммерческим отделением, где я давал уроки по законоведению и политической экономии. Кроме того, было несколько русских частных гимназий. Все эти школы были подчинены Русскому отделу министерства образования, во главе которого стоял профессор Юпатов.

В Риге существовало много русских общественных организаций. Из них самые крупные по количеству членов и значению были: «Русское Общество в Латвии», «Просветительное Общество», во главе которого стоял Э. М. Тихоницкий — брат покойного митрополита Владимира, известный педагог, «Союз русских учителей», «Гребенщиковская Община» и др.

РУССКИЙ ТЕАТР — РОССИЯ В СЕРДЦАХ

В русской жизни Латвии самым культурным центром был Театр Русской Драмы. Боже мой! Сколько переживаний, сколько приятных впечатлений дал нам этот театр! Блестящий состав артистов и талантливых режиссеров: Ведринская, Жихарева, Рощина-Инсарова, Е. Полевицкая, Лидия Штенгель, Яковлев, Юровский, Терехов и др. Режиссеры Незлобин, Унгерн — всех их с благодарностью вспоминает каждый, видевший эти постановки.

— Где остались русские актеры, — говорил Иван Лукаш, — там значит, не исчезла Россия — она в сердцах. Театр русский, действительно, остался в сердцах русского населения, а с ним и Россия! Этот театр поддерживал красоту и блеск русского слова, а для русской молодежи был великолепной школой. Для учащихся устраивались особые удешевленные спектакли, на что отпускались средства из культурного фонда министерства образования, равно как и на гастроли театра по Латгалии.

Открытия сезона мы ждали с большим нетерпением, а открывался он в театральном зале торжественным молебном, в присутствии представителей министерства образования, города и многочисленных русских обществ.

Вечером же театр открывался традиционным спектаклем «Горе от ума» Грибоедова или пьесой другого русского классика. Во время антрактов зал гудел от оживленных разговоров встретившихся друзей и знакомых, делившихся впечатлениями от игры артистов.

Латвийская опера также была проникнута тради-

циями славной Мариинской оперы в Петербурге, так как там звучали мотивы музыки Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, тем более, что режиссером Латвийской оперы был друг Шаляпина — П. И. Мельников, балетом руководила А. А. Федорова-Фокина, бывшая солистка славного балета Мариинского театра: ее балеты переносили мысли зрителей в блестящий Санкт-Петербург.

Вообще влияние русской культуры замечалось во всех трех Прибалтийских республиках. Даже самые министры этих республик на прибалтийских конференциях зачастую пользовались русским языком!

Приток русской интеллигенции из СССР увеличился с каждым месяцем. Так, в 1922 году из Петербурга прибыл известный художник академик Н. П. Богданов-Бельский, почти в то же самое время режиссер Мариинской оперы П. И. Мельников, позже профессора Грибовский и Синайский, приглашенные занять кафедры в Латвийском университете, еще позже — писатель С. Р. Минцлов и известный критик П. М. Пильский. Прибыл А. М. Фокин, директор петербургского Троицкого театра, много юристов, врачей и др.

По моей инициативе в Русском Клубе было устроено 25 января 1923 года празднование Татьянина дня, участвовало 125 старых студентов. Татьянинские встречи устраивались ежегодно и всегда были овеяны теплыми воспоминаниями о нашей общей *alma mater*.

СОДРУЖЕСТВО ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ

Петербуржцы А. М. Фокин, П. М. Мельников, Петр Пильский, А. А. Риттер и я составили своего рода содружество, остроумно названное Мельниковым «Содружество доброй надежды». Мы раз в месяц собирались у кого-нибудь из нас, но чаще всего в трактире «Волга» на Московском форштадте. Владелец этого питейного заведения Тарасов славился изготовлением вкусной селянки, на которую надо было заранее записываться, особенно на рыбную. Тарасов был известен своей селянкой не только в Риге, но даже за пределами Латвии. Приезжие из Берлина, Парижа или Лондона артисты, как например Шаляпин, Михаил Фокин, Дмитрий Смирнов или русские писатели и профессора, приезжавшие в Ригу читать лекции, считали своим приятным долгом посетить Тарасова, «отведать селяночку». У него для почетных гостей, а почетным гостем был каждый русский, заказавший заранее селянку, — отводилась особая комната, где за буфетом восседала жена хозяина, типа малявинских баб, румяная, с розовыми щечками, и разливала в стаканы чай из чайников с красными розами. А когда половой подавал дымящуюся в белой суповой миске селянку, то он произносил одну и ту же заученную фразу: «Кушайте на здоровье, Федор Иванович очень жаловали эту селяночку!».

К нашему столу подходила сама Тарасова и добавляла к словам полового: «Селянка, изготовленная по вашему рецепту, Александр Михайлович, пожалуй, не хуже Шаляпинской»... «Лучше, дорогуша, лучше: по Федину рецепту хоть и нежнее, да приятной остроты

меньше, я-то его рецепт знаю!» — смеялся наш изысканный гастроним Мельников, он в ресторанах «командовал парадом», а здесь — Фокин...

И вот, с появлением особого красного чайника с коньячком начинались воспоминания под тихие звуки органа, игравшего в соседнем общем зале «Стеньку Разина». Зачинщиком приятных воспоминаний обыкновенно был Фокин.

— Выпьем коньячного чая, что-то холодно... — говорил он.

— Помню, стояли морозы. Пошел я к Давыдову. Звоню, открывает сам Владимир Николаевич в шубе. Похудел. Целуемся... Ввел меня в свой когда-то роскошный кабинет, а теперь похожий на антикварный магазин мебели. Сели. Разговорились.

— Как дела, как поживаешь? — спрашиваю.

— Не видишь, — отвечает сердито, — хорошо поживаю, вот теперь большевики до конца жизни меня обеспечили...

— Большую пенсию получил? — радостно задаю ему вопрос.

— Печки лишили меня! Не видишь, печки-то нет в комнате — в верхний этаж переехал какой-то комиссар и приказал мою печку перенести в его квартиру, так как только моя печка оказалась в порядке, вот и живу, не снимая шубы, в которой и сплю!

— Как они осмелились нашу гордость и славу русского искусства лишить печки! — возмущался я.

— Давыдов — человек великого таланта и большого смирения, а вот Мамонт Дальский — русский Кин по таланту и распутству — тот не стерпел, — перебил Фокина Пильский, — тот, чтобы жить припеваючи, обратился в анархиста, и делал у нас, что хотел... Страстный игрок, он открыл картежный клуб, где резался в карты, а когда не везло, то просто забирал деньги выигравших, что лежали на столе, и исчезал... И погиб он как-то сумбурно в Москве в разгар «бескровной» рево-

люции: рано утром, возвращаясь из какого-то ночного клуба домой, вскочил он на ходу в трамвай так неудачно, что попал под колеса и погиб... Судьба играет человеком!..

Тут наступала очередь Мельникова, я уже знал, что он расскажет что-нибудь про друга своего Федю Шаляпина.

— Н-да, правильно изволили заметить, Петр Моисеевич, судьба играет человеком, она особенно благоволила Шляпуше! Что и говорить, милостью Божьей гений, но и практический ум его не плошал: добрыми советами друзей не пренебрегал, «Хованщину»-то мы ставили вместе, мои указания не пропали даром. Из Мариинского театра перешел он в оперу Мамонтова тоже по моему совету... Мы работали дружно, но и ругались здорово, знаете пословицу — милые бранятся, только тешатся... С нетерпением жду его в Риге... У Тарасова будем обязательно...

В это время приоткрылась входная дверь в бильярдную, откуда показалась курчавая голова извозчика, который делал рукой знаки Фокину; тот поднялся и вышел.

Теперь к воспоминаниям приступил наш «балетный архивариус» Александр Риттер, бывший председатель петербургских балетоманов, известный меценат балетных артистов и артисток. Он друг «четырех великих», Анны Павловой, М. Кшесинской, О. Преображенской и Т. Карсавиной, с которыми и теперь в переписке. Ни одно празднование юбилея или бенефиса члена балета в Мариинке не обходилось без его участия.

— Боже мой! Как любила петербургская публика служителей Терпсихоры! — говорил он нам, — здесь не знают того преклонения перед балетом, потому что еще не понимают отвлеченных и строгих формул классического танца, через которые талантливой артистке или артисту дано насыщать чувствительностью, утонченностью и пафосом современные души, благородным

героизмом больших линий и прихотливых изломов... Вот линия Павловой не только декоративна и выразительна — она символична... Быть может, балетмейстер Федорова научит ценить балет в Риге... Кстати, я получил сообщение, что Павлова в скором времени приедет к нам, но до нее у нас выступит Карсавина в «Раймонде», вероятно, сам композитор, Глазунов, будет дирижировать, об этом я передал нашей дирекции...

В это время вернулся Фокин:

— Только что сыграл в биллиардной партии с извозчиком Петуновым: проиграл ему пару пива... Люблю... Здесь самое русское место... «Волга» — имя-то какое русское!.. Ну, дорогие, засиделись, а мне пора в балетную студию... Александра Александровна, наверно, там. Знаете, здесь, в Риге меня стали называть Федоровым. Судьба играет человеком!

Добродушно смеясь, он стал прощаться. Заседание «Содружества доброй надежды» кончилось. Следующее — на квартире Федоровой.

СМЕЛЫМИ БОГ ВЛАДЕЕТ!

Несмотря на бойкий коллективный роман «В погоне за бриллиантами» из петербургской и местной жизни и на живую провинциальную хронику, «Рижский Курьер» чах — тираж его не увеличивался, так как мы порядком отставали новостями и не имели заграничных корреспондентов, чем отличался наш богатый «конкурент» «Сегодня». Мало помог и уход из этой газеты талантливого публициста Н. Г. Бережанского, который поссорился с издателями и уехал в Берлин.

В начале 1924 года, Заборовский объявил нам о закрытии газеты. Итак, в один далеко не прекрасный весенний день мы оказались безработными! Перспектива крайне неприятная, но мы не растерялись: у нас всех были молодость и предприимчивость!

Мы действовали энергично и получили в Министерстве Внутренних Дел разрешение на издание ежедневной вечерней газеты «Вечернее Время». Стали искать издателя — человека с деньгами. Дело, казалось, совершенно безнадежное! И все же, к удивлению, такого человека скоро нашли, точнее сказать — он сам явился. Этот «капиталист» был молодым человеком с большой энергией и с еще большей самоуверенностью: бывший студент Сорбонны Тейтельбаум. Как мы потом убедились, он часто махал десятидолларовой кредиткой, но весьма редко расставался с нею.

— Деньги? — восклицал он с пафосом, — деньги плевое дело, главное смелость! Она, как говорил генералиссимус Суворов, города берет!

И смелый Тейтельбаум брал, если не города, то типографии, которые соглашались печатать газету в

кредит, получал он со складов и бумагу при взносе небольшого аванса!

От телеграмм Латвийского Телеграфного Агентства пришлось временно отказаться, так как махание перед носом финансового директора десятидолларовой бумажкой большого впечатления на него не произвело: жадный директор хотел иметь эту бумажку в своей кассе!

Наш издатель было смутился, но вскоре успокоился, поверив нашему заявлению, что телеграммы мы сумеем «по новой технике» ловить в воздухе, а потом сговоримся с Телеграфным Агентством. И действительно, сговорились — в рассрочку.

Быстро написали у адвоката товарищеский договор, составленный так хитро, что наш адвокат оказался чуть ли не главным пайщиком, не рискуя отвечать за долги издательства. Мы было воспротивились такому договору, но Тейтельбаум, пряча с довольной миной деньги в карман, сказал:

— Ну, что ж такого! Пусть будет пайщиком, он же составил для нас всех хороший договор! Человек ведь хочет заработать!

По договору, мы, пайщики, не вносили своих паев: они заключались в нашем труде, который оплачивался из получки за тираж газеты и с объявлений. Ответственным редактором был Кормчий, как латвийский подданный, он же ведал литературной частью, я — общим политическим отделом, Дагаров — экспедицией и конторой газеты, а Тейтельбаум отвечал за издательскую часть. Редакция, контора и экспедиция, там же и приемная — все в одной комнате типографии Миллера, где мы тесно сидели за одним столом.

После обеда мы, члены редакционной коллегии, носились с портфелями в руках по городу в поисках объявлений и заодно хроникерского материала. Рано утром готовили выпуск газеты и принимали посетителей. Вместо скончавшейся Витвицкой — критика, мы при-

гласили судейского генерала барона И. С. Нолькена. Короче говоря — дело закипело! Наконец, наступил счастливый момент для каждого редактора и издателя — гулять по самой оживленной улице и видеть газетчиков, несущихся с пачками нашей газеты и пронзительно кричащих: «Вечернее Время»! Новая газета! Читайте «Вечернее Время»! Конечно, нам эти пронзительные голоса казались небесными звуками! Мы упивались ими, как зачарованные голосом Собинова фанатичные «собинистки»! И газету, действительно брали нарасхват, а кто не покупал, тому мальчишки незаметно совали ее в карман. О, наш экспедитор был не дурак: его расчет оправдался, так как на следующий день получившие бесплатно газету охотно покупали ее.

Вскоре, видя рост продажи газеты, мы, как издатели, повысили себе гонорар! Да, жить стало веселее.

«Вечернее Время» пошло бойко: тираж все увеличивался. Чем объяснить успех? Каждый из нас объяснял его по-своему, но на одном сходились все: интересное содержание и смелость. Мы весело смотрели на жизнь: важно поучали заграничных министров (сохрани Бог, только не наших!), порицали за ошибки, а массовому читателю давали советы, как разбогатеть, писали веселые фельетоны и предохраняли всех от уныния. Все это подняло наш авторитет в глазах наших читателей.

Через несколько месяцев ликующий Тейтельбаум исчез, довольный тем, что сохранил в полной неприкосновенности свои волшебные долларовые бумажки. Мы же не растерялись, так как наша газета уже представляла ценность, поэтому вскоре нашелся новый издатель, владелец какой-то кинопрокатной конторы, представитель которого, Снигирев, купил «Вечернее Время» с «живым и мертвым инвентарем».

Этот Снигирев, прибыв в Ригу, сразу начал кампанию против возглавлявшего русский список в Сейм ар-

хиепископа Иоанна и вручил нашему метранпажу резкую статью против кандидатуры владыки.

Метранпаж принес статью нам, а мы переделали ее так, что получилось похвальное слово архиепископу за его пастырскую и общественную деятельность.

Прочитав статью, Снигирев побагровел и стуча по столу кулаком, кричал, что он, как издатель, имеет и редакторские права. Кормчий спокойно доказал ему ошибочность такого мнения. После этого инцидента, Снигирев поспешил продать газету известному в банковских кругах Николаю Белоцветову.

Н. БЕЛОЦВЕТОВ — ИЗДАТЕЛЬ-ИДЕАЛИСТ

Николай Алексеевич Белоцветов пришел к нам в редакцию в сопровождении господина плотного телосложения, с добрыми глазами и приятной улыбкой, притом более молодого, чем сам издатель с седеющей бородой. Белоцветов заявил, что как собственник газеты просит нас остаться на своих местах, но газета будет реорганизована, начиная с ее названия: она будет именоваться «Слово», а главным редактором будет писатель Иван Созонтович Лукаш, которого просит любить и жаловать. Печататься она будет в нашей собственной типографии «Саламандра».

Кто такой Белоцветов? — спрашивали мы друг друга. Говорят, что русские отличаются тем, что плохо знают свое отечество и еще менее — своих соотечественников! Так и мы о Белоцветове не имели понятия. Позже из окружения его мы узнали, что Николай Белоцветов родился в 1862 г. в семье священника в Муроме (Владимирской губ.), откуда, как известно, происходил былинный Илья Муромец, защитник родной земли и борец за русскую культуру против Соловья-разбойника. Не эта ли былина повлияла на характер Белоцветова, сделав из него идеалиста, каким он остался до конца своей жизни?

Идеалист и практик в нем как-то уживались, первое качество в последние годы взяло верх. По окончании высшего учебного заведения он изучает страховое дело и поступает в Страховое Общество «Саламандра» в Петербурге, где через несколько лет начинает играть большую роль, как выдающийся финансист.

Российская революция вызывает резкий поворот

в жизни Белоцветова. Он во-время перевел капиталы «Саламандры» за границу, во-время сам выбрался в Данию, где продолжал громадное дело акционерного Общества «Саламандра», наконец, как хороший патриот, он решил приступить к осуществлению своей давнишней мечты — создать в Прибалтике большую русскую газету, солидный русский художественный журнал и издавать книги русских классиков, короче говоря, начать в Риге большое культурное дело. Он мечтал, что когда откроется граница в Россию, весь ценный для русских материал перекинется туда: для осуществления этой идеи он не жалел средств.

Он приобрел в Риге первоклассную типографию, оборудованную по последнему слову типографской техники (ротационная машина, лино типы и т. п.). Купил хорошую цинкографию и большой дом на Рыцарской улице, куда перевел нашу редакцию и контору газеты. Все это стоило громадных средств.

ИВАН ЛУКАШ И Н. БЕРЕЖАНСКИЙ

И вот, осенью 1925 года в редакции независимой демократической газеты «Слово» закипела лихорадочная работа. До сих пор я не могу забыть громадный корпус «Саламандры», где день и ночь гремели, сотрясая стены, типографские гиганты и свет из цинкографии струился во двор, заваленный руладами бумаги, приобретенной не игривым маханием десятидолларовой бумажки, а за наличные десятки тысяч долларов!

Помню, как вначале мы писали статьи, притулившись к большому столу под ярким огнем электрических лампочек, в пальто, а Иван Созонтович, как режиссер, дымя трубкой, вдруг вскакивал с места и вскрикивал: «Совсем одурел! Пора кончать!» Затем тихо подходил ко мне, незаметно заглядывал в мою рукопись и одобрительно говорил: «Вот так, хорошо, а тут все-таки подбавьте «перца»... Мы должны помнить, что Ей, России духовной, все наше дыхание, вся наша мечта и вся кровь!..» и так же тихо уходил.

Лукаш — стопроцентный патриот — от него веет Русью. Он часто говорил, что Россия — друг свободы и культуры, вернется к русским тогда, когда русские будут достойны ее. В редакции он волнуется, горячится, но всегда приветлив, всегда скажет приятное слово. Этим он притягивал к себе всех, кто имел с ним дело.

Вскоре появился у нас из Берлина политический редактор Николай Григорьевич Бережанский (Козырев), «русоголовый скобарь» (псковской), как называл его Лукаш. Мы же звали его «громовержцем» за частые вспышки гнева.

По своим склонностям Бережанский прежде все-

го был строгий индивидуалист, а потом уже журналист, но «журналист Божьей милостью».

Среднего роста, с поблескивающим пенсне на носу, он быстро прочитывал телеграммы и сразу же начинал вслух ругать того или иного политического деятеля за компромиссное предложение его, так как Бережанский не допускал компромисса с большевиками. Затем он приступал к статье. Писал он остро, с большой желчью — он был чахоточный — и статьи его пылали гневом и ненавистью к врагам рода человеческого — большевикам. Писал он убедительно и волновал читателей.

Вскоре всем в редакции стало ясно, что совместная работа Лукаша и Бережанского невозможна вследствие противоположности их характеров.

И действительно, через год, к нашему общему сожалению, Лукаш перекочевал в Париж, где стал работать в «Возрождении» А. О. Гукасова.

«ПЕРЕЗВОНЫ»

*...Через горы, долины, леса,
Перезвоны летят перелетные...*

О. Далматова

А Белоцветов развертывал в Риге свою издательскую деятельность все шире и шире. Он вступил в переписку со всеми крупными русскими писателями и художниками за границей. Пригласил Бориса Зайцева руководить литературно-художественным отделом журнала, профессора Мишеева заведывать отделом искусства и русской старины. Обеспечил ближайшее сотрудничество Ивана Лукаша. Затем заручился сотрудничеством в «Перезвонах» находившихся в то время в Риге академиков Богданова-Бельского и Виноградова, а также художника Добужинского. Почти все известные писатели-эмигранты участвовали в «Перезвонах»: Бунин, Зайцев, Шмелев, Алданов, Бальмонт, Тэффи, Адамович, Маковский, Чириков, Минцлов и др.

И вот, 8 ноября 1925 года вышел первый номер «Перезвонов», вызвав восторг любителей русского искусства и литературы.

В передовой статье редакция журнала, между прочим, заявляла, что «Перезвоны русской культуры должны звучать в эмиграции, чему она и хочет содействовать по мере сил и умения».

И «Перезвоны» зазвучали художественной переключкой с русскими изданиями, в Париже — с «Возрождением», в Берлине — с изданиями Ольги Дьяковой. Увы, всего на четыре года: в 1929 году, на 43-м но-

мере, они, к глубокому сожалению читателей, заглохли. Прекратились прекрасные статьи с ценными иллюстрациями и репродукциями с картин знаменитых художников, живописные описания богатейших сокровищ России, ее церквей, Эрмитажа, и музеев не только российских, но и заграничных.

Но Белоцветов не остановился на газете «Слово» и на «Перезвонах» — для русской молодежи он выпустил в свет журнал «Юный Читатель» (редакция Кормчаго), а вскоре и журнал «Родина» (ред. Мишеева.). Кроме того начал печатать серию книжек русских писателей.

Помню, перед выпуском в свет журнала «Родина» явился ко мне, после бурного разговора с Белоцветовым, Бережанский и сказал:

— Знаете, наш издатель — этот русский Дон-Кихот, снова затевает новое издание, не достигнув самоокупаемости прежних! Говорит, что издает для России. Наивный идеалист... Все пойдет прахом! — волновался он.

Кроме издательской деятельности, Белоцветов всячески оказывал помощь Русскому театру и разным просветительным учреждениям, где состоял почетным членом. И вдруг, через несколько лет, к удивлению читателей, газета «Слово», «Перезвоны» и другие издания одно за другим стали закрываться без объяснения причин.

Рижане долгое время мучились вопросом, чем была вызвана эта катастрофа?

Некоторые «компетентные» лица в Риге утверждали, что землетрясение в Японии (1923 г.) причинило Страховому Обществу «Саламандра» громадный ущерб, — ему пришлось выплатить потерпевшим возмещение (миллионы долларов) за погибшее имущество. Другие — к ним принадлежал и Бережанский — допускали, что японская катастрофа отозвалась на изданиях Белоцветова в Риге, но только отчасти, главная же причина прекращения изданий его в том, что Белоцветов

— идеалист слишком верил в русского читателя-эмигранта и «размахнулся» изданиями газеты и журналов не по силам своих частных средств! Мы, газетные работники, русского читателя в Латвии знали хорошо: он охотно читает и газеты и журналы, но платить затрудняется, особенно же не любит подписываться на них, так как «жизнь тяжелая»! «Перезвоны» в Риге шли по рукам и каждый номер «зачитывали до дыр»!

Стоил же он всего 60 латв. сантимов, а вне Латвии — 14 ам. центов, позже — 25 центов. Русский Дон-Кихот Белоцветов не мог осилить этой пассивности русского читателя по отношению к русскому национальному издательству и дух его сломился — он заболел.

«Беда беду родит, а третья сама бежит», — говорит русская пословица: вскоре скончался Н. А. Белоцветов (27 сентября 1935 г.), а затем и брат его, ответственный редактор «Перезвонов», С. А. Белоцветов.

Смерть Н. А. Белоцветова в вихре событий того времени прошла как-то незаметно в русской печати, а жаль! Русская эмиграция должна быть ему благодарна за его деятельность в области культуры. Он, несомненно, оказал большую помощь русскому делу вне России.

Через пять лет большевики захватили Латвию и нам, неприемлющим их власти, пришлось двинуться на Запад.

ЛЕСНЫЕ БРОДЯГИ

(Из времен российской гражданской войны)

В один из жарких июньских дней, когда все ушли из моего кабинета, в прихожей я услышал тихий звонок. Открываю дверь, у которой стоял господин лет под сорок. Смуглое, загорелое лицо с небольшой темной бородкой. Выправка военная. На левой руке висело серое летнее пальто, в правой он держал черный портфель.

Пристально всматриваюсь в лицо, стараясь вспомнить, где я его видел? «Не узнаете вашего коллегу штабс-капитана Ромшевского?» сказал он, улыбаясь.

— Господи, только теперь по голосу узнал. Как борода изменила вас! Добро пожаловать! Очень рад! Вошел. Радостно обнимаемся.

— Откуда? Какими судьбами? — спрашиваю, сажая его в кресло.

— Откуда — точно сказать не могу, — ответил он, до леса, моего местопребывания, верст десять... Короче — я лесной бродяга, теперь таких много... Жестокие времена!

За обедом гость рассказал, что причиной его бегства из Новгорода был наш совместный протест против разгона Учредительного Собрания и наше решение вступить в комитет Союза Защиты «Учредилки».

— Меня во время обыска в моей квартире, к счастью не было. Два офицера, подписавших этот протест, были арестованы и отправлены в Петроград. Я же долго скрывался на окраине города, а потом с тремя друзь-

ями и двумя солдатами бежали «до лясу», с целью добраться до ближайшей белой армии, которая, по слухам, формируется в Эстонии.

Уже неделю мы, не торопясь, двигаемся вперед к Гдову, избегая железных и шоссейных дорог. В лесу хорошо, спим большей частью в старых окопах, конечно, соблюдая очередное караульное дежурство... Продукты нам достают из деревень за деньги наши солдаты-друзья. Денег у нас достаточно.

— Ну, а облавы в лесах большевики не устраивали?

— Какие там облавы в настоящее время! Стражники никогда в леса пойти не рискуют — боятся, так как там слишком много их врагов. Кого там нет! Богатые крестьяне, бежавшие от преследований комитетов бедноты, купцы, дезертиры, священники и старообрядческие наставники и даже «сектанты-пророки», проповедующие всеобщий поход против «антихриста» Ленина и его дьявольских слуг-комиссаров. Они призывают всех к молитвам, так как «наступило, мол, светопреставление!» Как видите, в дремучих лесах у нас не совсем скучно!

В общем, он и его спутники жизнь в лесах находят пока приятной.

— Знаете, — сказал он, вставая с места, — на днях в лесу лежал я лицом кверху у вековых дубов, испытывая невероятное душевное наслаждение от наблюдения за происходящим в природе. Тихий ветерок шевелил листья, которые, казалось, шептались между собой. Солнечный свет узкой полосой пробирался ко мне. Крутом меня полевые цветы и неизвестные мне высокие травы в полном соку тянулись к простору и свету... Необыкновенная умиротворяющая тишь властно втягивала меня в природу и я впервые почувствовал присутствие Бога и в этом было великое счастье для меня!..

Затем он подошел к окну и, посмотрев на улицу, сказал: «Пора, меня ждут на реке!»

Я проводил его на окраину города. Мы сердечно простились, дав друг другу слово встретиться в Нарве, где стоял штаб генерала Юденича.

АТЕИСТ — ЧУДОТВОРЕЦ

Это — была недавних лет, и многие свидетели этой истории благополучно или неблагополучно здравствуют и по сее время — одни по ту сторону «железной завесы», другие — по сию сторону той же злосчастной завесы.

Так вот, уцелевшие рижане, вероятно, помнят учителя гимназии Януария Ивановича Дубицына, учениками попросту называемого Январем Ивановичем.

Дубицын был атеистом, чего он и не скрывал, и за что жестоко пострадал.

Высокий и худой, с наклоненной вниз головой к собеседнику, — он был у нас выше всех — Январь Иванович слыл весьма отзывчивым и хорошим товарищем, но у него, кроме атеизма, был еще один странный, так сказать, «заскок», тоже, пожалуй, атеистического происхождения, а именно — какое-то непонятное пристрастие к названиям месяцев. Ими он называл дочерей, вызывая этим не только удивление, но и возмущение чиновников бюро гражданского состояния по отделу регистрации новорожденных.

Возмущение чиновников — еще полбеда: чиновники привыкли возмущаться, за это они и жалованье получают. Гораздо хуже было для бедных дочерей, имена которых при поступлении в школы вызывали только обидные и незаслуженные насмешки подруг.

В самом деле, думал ли добродушный по природе Январь Иванович, что старшая дочь его Октябрина будет страдать от этого, почему-то казавшегося ему поэтическим, имени, или средняя, Майя, или, наконец, младшая — Февралина?

Но еще хуже получилось, когда дочери Дубицына превратились в прелестных невест и когда следовало их именовать по имени и отчеству. Тут уже в неловкое положение попадали молодые люди, особенно женихи.

Ну, как, в самом деле, повернется язык назвать — Октябрина Януаровна? Или Февралина Януаровна? Без смеха не скажешь! По нашему городу ходили слухи, что некоторые женихи, с самыми серьезными намерениями исчезали уже после первой попытки назвать ласкательным именем Октябрину: «Октя» — звучит плохо. «Октябрюшка» — еще хуже.

Немало слез пролили бедные девушки от такой прихоти отца!

*

Пострадал же Январь Иванович у нас при правом правительстве Карла Ульманиса, когда министром народного просвещения был какой-то богослов-профессор, который «для пользы науки» сократил число средних школ, главным образом меньшинственных. Сократили и нашу школу.

Все учителя, которые еще не выслужили пенсии, стали устраиваться в других школах. И почти все так или иначе устроились. Остался только Январь Иванович: никакая школа не брала его: мол, нет свободной вакансии.

Ясно было, что безбожие Дубицына подгадило ему: не принимали его именно за атеизм: «не желают родители учащихся».

И вот пришлось Януарию Ивановичу, несмотря на атеизм хорошему педагогу, жить частными уроками, да лекциями о пользе трезвой жизни — он был убежденным трезвенником.

Между тем, вскоре наступили тяжелые времена для Латвии — черные дни заключения пактов о ненападении. Наш народ и в мыслях не имел нападать на кого бы то ни было. Где там! Но пришлось подписать зло-

счастный пакт, после чего на наших базах появились советские войска. Но и этого показалось мало могучему соседу: под предлогом якобы готовящегося союза трех пигмеев-прибалтийских государств против советского Голиафа, красные войска в 1940 году заняли всю Латвию и начали водворять у нас «советский рай». В городе начались чистки, аресты и расстрелы...

Появилось новое правительство, стаж членов которого оценивался не по опыту или образованию, а по числу лет, проведенных в тюрьмах.

Конечно, прежде всего коммунисты обратили внимание на пропаганду, между прочим, и на радио, куда комиссаром был назначен какой-то строгий, но невежественный политрук. Этот политрук решил ввести по радио уроки русского языка для латышей.

По рекомендации местного коммуниста Виласова, место лектора русского языка предоставили Дубицыну, как передовому педагогу и атеисту.

*

Довольный полученной постоянной работой, Январь Иванович начал чтение своих лекций, причем, как передовой педагог, решил читать их по новому собственному методу, для чего он заказал напечатать в издающемся при радиодфоне журнале «Радио-Волна» слова, о которых он будет говорит на лекции, и из них составлять предложения. Лектор убедительно советовал слушателям хорошо запомнить их.

И вот, в один из ненастных дней, когда в Ригу прибыл специалист «по добровольным присоединениям» малых государств к СССР — Вышинский, над Дубицыным разразилась гроза.

Дело, по словам свидетелей, произошло так: приходит Январь Иванович в помещение радиодфона и направляется в студию, к микрофону, а навстречу ему спешит радио-директор:

— Вам, Януарий Иванович, политрук наш приказал явиться к нему, — сказал он.

— А в чем дело, товарищ директор? — весело спрашивает лектор.

— Не знаю, в чем дело, а только он очень сердит: не в духе...

Дубицын отправился к политруку. Подойдя к двери кабинета, он взглянул туда через верхнюю, стеклянную часть, видит в комнате политрука много посетителей, а времени мало: через две минуты надо по расписанию начать чтение лекции. Махнув рукой, Дубицын метровыми шагами пошел к микрофону.

Но только что откашлялся, чтобы начать говорить, как к нему поспешно вбежал директор и буквально шипит: «Немедленно к комиссару!»

С некоторым недоумением и беспокойством вошел Январь Иванович в кабинет политрука, который, увидев его, резко прервал беседу с радио-активистами и красный, как вареный рак, закричал:

— Во-о-н!..

Следует заметить, что этот комиссар, когда распекал кого-нибудь, всегда начинал со слова «Вон!». Когда же распекаемый покорно следовал к выходу, политрук кричал вдогонку: «Назад! Куда попер? Я еще не кончил».

То же самое случилось и с Дубицыным: лишь только он повернулся к двери, как услышал позади себя громовой окрик комиссара:

— Назад!.. Куда попер?.. Я еще не кончил. — Дубицын остановился.

— Как это вы, контра такая, смели так нагло втереться в наш радиотелефон под маской безбожника? Вы нахал! Его, товарищи, рекомендовали мне, как ярого безбожника, а он тут такую поповщину с аллилуйей развел, что...

— Позвольте, товарищ комиссар, в чем дело? — прервал комиссара удивленный Дубицын.

— Молчать, когда я говорю! — и, обращаясь к активистам, политрук продолжал: — Он, товарищи, еще спрашивает, в чем дело... Он, товарищи, печатно пускает в массы такой зловредный опиум, как слова: «Бог», «Христос», «Иисус», и не знает в чем дело! Да за это что полагается, товарищи, а?

— Пострелять его за это надо, — раздался из актива чей-то мрачный голос с латышским акцентом.

— Позвольте, я объясню... здесь досадное недоразумение... — с отчаянием в голосе попытался пояснить Дубицын.

— Правильно, товарищи, расстрелять его мало... Никаких объяснений! Молчать, когда я говорю! Бог, Иисус — это у него, товарищи, недоразумение... Вон! Пока я не передал дела в НКВД! — затопал ногами расшвирипевший комиссар, повернувшись спиной к несчастному лектору.

Уныло побрел Январь Иванович к выходу...

Весть об увольнении Дубицына быстро разнеслась по городу, причем ее особенно живо подхватили «служители религиозного культа», как по новому называли духовных лиц. Некоторые из них не без основания узрели в таком увольнении перст Божий, покаравший безбожника.

Неделю спустя после этого происшествия с Январем Ивановичем пришлось мне встретиться с ним и выслушать его печальное повествование. Встреча эта произошла тоже при интересных обстоятельствах, поэтому на ней стоит остановиться.

*

После педагогического совета наш директор, закрывая заседание, заявил, что по предписанию свыше на следующий же день мы должны быть в девять часов утра на площади Гердера для участия в демонстрации: латвийский народ должен выявить «непреклонную волю» присоединиться к СССР.

— Участие в демонстрации не принудительно, но, сами понимаете, не явиться нельзя, — прибавил директор.

Делать нечего, пошел и я на площадь Гердера. Там было уже много народа. Все учителя рижских школ стояли в рядах по шести человек. Среди русских учителей находился и наш «просветительный комиссар» Виласов.

Вся площадь была занята демонстрантами. Лес красных флагов и транспарентов с разными лозунгами.

Холодно. Проходит час, а мы все стоим, так как впереди нас двигаются рабочие наиболее «боевых» заводов. Тучи все более заволакивают солнце. Начал покрывать дождик. Надоело ждать. Мы вышли из рядов и отдельными группами вступаем друг с другом в беседу.

Вдруг слышу в передних рядах русских учителей шум и радостные возгласы:

— А, Январь Иванович Дубицын! Здравствуйте!

Смотрю, большими шагами приближается к нам длинная фигура Дубицына.

Поправляя на ходу очки левой рукой, правой он крепко пожимал руки обрадованных его появлением коллег.

Тотчас же и мы окружили Января Ивановича и начали наперебой засыпать его вопросами, на которые он едва успевал отвечать.

Подошел к нашей группе и сам комиссар Виласов.

Дубицын спокойно и не спеша, как на уроке, рассказал нам следующее:

— Дело, коллеги, произошло как-то быстро, даже просто, но совсем неожиданно для меня приняв неприятный оборот... Я, видите ли, хотел на своей лекции по русскому языку для латышей рассказать о вреде религии и вообще доказать своим радио-слушателям, что религия — опиум для народа. С этой целью я просил

редакцию «Радио-Волны» напечатать в программе ряд нужных мне слов, вот они, — сказал он, подавая мне журнал-программу, в котором я среди тридцати слов по русскому языку заметил жирно подчеркнутые красным карандашом слова: «Бог, Иисус, Христос». — Ну, вот, — продолжал Дубицын, — пошел я в радиодфон, чтобы прочесть лекцию оперируя напечатанными в этой программе словами. Но произошло непонятное и досадное недоразумение: комиссар радиодфона, какой-то полковник, невежливо прогнал меня, не дав возможности разъяснить ему...

— Вот тебе религия и «опиум для народа!» — слышался позади чей-то мужской голос.

— Слава Богу, Январь Иванович, что так случилось. Спасибо, голубчик, теперь после происшедшего с вами случая я снова уверовала в Бога! — прерывающимся от волнения голосом воскликнула молодая учительница Белоперова.

В это время через густую толпу поспешно пробивалась к виновнику торжества известная старая учительница Виктория Семеновна. Остановившись перед Дубицыным, она, не стесняясь присутствия комиссара, обратилась к нам с краткой речью:

— А ведь, действительно, дорогие коллеги, происшедший с Январем Ивановичем случай не только чудотворный, но и весьма поучительный... Ведь на какое нехорошее дело пошли вы, Январь Иванович! Вот, вы хотели там про опиум религии и все такое против Бога сказать, а дело-то обернулось грозной карой для вас, а не Бога... Да еще вашим поступком вы привели к Богу сотни неверующих и сомневающихся... Видите, даже здесь, на демонстрации, благодарят вас за возвращение к вере... Вы, в самом деле, чудотворец!

Дубицын, невольно оказавшийся в роли чествуемого, хотел что-то сказать, быть может, возразить, но комиссар Виласов, видя, что разговоры приняла опреде-

ленно антиправительственный оборот, вдруг энергично вмешался и громко заявил:

— Довольно, товарищи, здесь договорились до того, что некоторые отсталые дамочки, к сожалению учительницы, причислили вас товарищ Дубицын, к лику чудотворцев... А я, товарищ, скажу прямо и откровенно, что никакого чудотворства в этом деле не было... Вы, товарищ Дубицын, поступили тогда неразумно, отдав в печать некоторые имена собственные для программы в «Радио-Волну» без предварительного просмотра товарища политрука...

— Точнее выражаясь, без предварительной цензуры, хотите вы сказать, — пояснил чей-то голос из задних рядов.

— Предварительного просмотра, — резко повторил Виласов, — цензуры, у нас, в свободной республике, нет... Вам, товарищ Дубицын, надо было сначала предъявить оттиск вашей лекции товарищу политруку, вот тогда и не было бы справедливого гнева его, а, значит, не было бы и неприятности... Впрочем, товарищи, стройтесь, дошла очередь и нам двигаться вперед... А где Макаренко? Макаренко где?

— А кто такой Макаренко? — робко спросил чей-то женский голос.

— Вот отправят вас туда, куда Макар телят не гонял, тогда и познакомитесь с Макаренко. Ведь он потомок этого самого Макара, — пояснил уже в строю чей-то мужской голос. По рядам прокатился дружный хохот.

— Товарищи, кто видел товарища Пилатова с портретом Макаренко? — продолжал кричать с надрывом в голосе Виласов.

— Вот он из трактирчика бежит, и Макаренко с ним, — крикнули из передних рядов.

Действительно, вблизи из ресторанчика показалась щуплая фигура нашего учителя гимнастики Пилатова,

известного любителя выпить. Он, весело размахивая портретом Макаренко, спешил догнать первые ряды русского учительства, чтобы возглавить шествие.

Шествие двинулось на Морскую улицу к полпредству. Дождь усиливался. Проголодавшиеся и усталые педагоги все еще продолжали оживленно обсуждать инцидент с «чудотворцем» Дубицыным.

СОДЕРЖАНИЕ

Бурелом в Сенате	3
Кавказская рапсодия	10
Мать-героиня	20
Охтенская «богородица»	28
Батько Булак-Балахович	47
Неожиданное спасение	66
Тягостный случай	71
Две загадочных смерти	76
Изумление	97
Моя газетная «эпопея»	102
В «Рижском Курьере»	107
Русские в Латвии	110
Русский театр — Россия в сердцах	112
Содружество доброй надежды	114
Смелыми Бог владеет	118
Н. Белоцветов — издатель-идеалист	122
Иван Лукаш и Н. Бережанский	124
«Перезвоны»	126
Лесные бродяги	129
Атеист — чудотворец	132